

**Виктор БОЧКОВ**

**КОСТРОМСКИЕ  
СПУТНИКИ  
ПУШКИНА**



**Виктор БОЧКОВ**

**КОСТРОМСКИЕ  
СПУТНИКИ  
ПУШКИНА**

**Историко-художественные очерки**



*Юбилейный выпуск журнала  
"ГУБЕРНСКИЙ ДОМ"*

## ЛЮБЕЗНЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

22 декабря 2002 года журналу "Губернский дом" исполнилось 10 лет. И глубоко символичной в связи с этим представляется публикация в юбилейном номере историко-художественных очерков В.Н. Бочкова "Костромские спутники Пушкина".

Автор их был одной из тех творческих личностей, благодаря которым, собственно, и появился на свет "Губернский дом".

Сам Виктор Николаевич, увы, не дожил до выхода первого номера журнала, успев напутствовать лишь его предшественницу — "Костромскую старину".

Но имя замечательного краеведа и писателя было связано с "Губернским домом" все эти годы: здесь, благодаря участию Ларисы Васильевны Вавиловой-Бочковой, печатались материалы из его творческого наследия, многие авторы журнала являются его учениками.

У книги очерков "Костромские спутники Пушкина" весьма трудная судьба. С 1987 года рукопись принимали в центральные и местные издательства, но интереснейшая книга так и не вышла.

И все же рукописи не горят. Хочется верить, что публикация очерков Виктора Бочкова в "Губернском доме" станет хорошим подарком его читателям и они еще раз вспомнят добрым словом своего талантливую земляка.

которому в этом году исполнилось бы 65 лет.

Редакция "ГД"

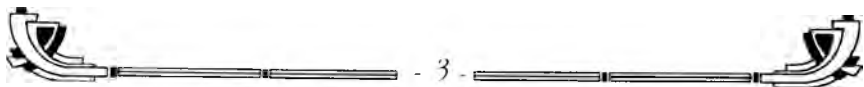
# АВТОРСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

По своему научному и художественному достоинству, по несомненному интересу, который произведение В.Н. Бочкова вызовет в самой широкой читательской среде, его публикация представляется насущно необходимой и беспрюгрышной даже при сегодняшней весьма капризной и непредсказуемой книжно-рыночной конъюнктуре.

У краеведческих трудов есть одна завидная особенность: с годами интерес к ним не только не угасает, а еще и обостряется. С движением истории, с уходом в прошлое целых исторических эпох нарастает значимость и весомость даже самых мельчайших деталей и фактов, останавливающих время, удерживающих в себе его неповторимый облик, его живое и трепетное дыхание. Даже если краеведческая книга написана любителем, не имеющим таланта, обладающим лишь трудолюбием и страстью собирателя, ее ценность для новых поколений читателей не уменьшается, а увеличивается. Тем более это относится к признанному не только костромским, но и всероссийским читателем автору увлекательных историко-культурных, краеведческих изысканий. К их числу относится, например, изданная массовым тиражом в 1990 году в "Современнике" книга В.Н. Бочкова "Скажи, которая Татьяна?" (Образы и прототипы в русской литературе), моментально раскупленная и исчезающая с полок всех книжных магазинов страны.

Популярность книг В.Н. Бочкова не случайна. И последняя из них — итог многолетних трудов, своеобразное авторское завещание — убедительно раскрывает секрет этой "обреченности на успех". В творческом облике автора рецензируемой рукописи обнаруживается редкое соединение трех обычно расходящихся и специализирующихся дарований: энтузиазм терпеливого и дотошного краеведа-собирателя здесь обогащается широкой эрудицией одного из ведущих в нашей стране специалистов в области генеалогии, а также увенчивается несомненной писательской одаренностью, художественным талантом беллетриста-рассказчика.

Книга посвящена костромским спутникам Пушкина и состоит из портретных очерков А.Ю. Пушкина, И.П. Шульгина, П.А. Катенина,



П.П. Свинына, Ф.И. Толстого, Н.М. Коншина, В.И. Всеволодова, А.К. Бошняка, И.А. Руфина, Ю.Н. Баргенева, А.И. Готовцевой, И.Д. Колдовского, А.О. Ишимовой. Все они имеют отношение к великому национальному поэту России, но связаны с ним по-разному. А.Ю. Пушкина сближает с поэтом кровное родство, Ф.И. Толстого — дружба-вражда, А.К. Бошняка — драматические перипетии отношений поэта с официальной властью, П.А. Катенина, П.П. Свинына, А.И. Готовцеву — творческие диалоги с Пушкиным, А.О. Ишимову — редакционно-издательская деятельность его в журнале “Современник”.

Дух Пушкина витает над этими очерками-портретами, отражается по-разному в судьбах их персонажей, как прямыми, так и косвенными нитями связанных с особым строем “пушкинского” времени в истории России. Поэтому книга В.Н. Бочкова, несмотря на внешнюю разноликость действующих в ней героев, собирается в цельное произведение, в зримых и ярких образах воскрешающее перед читателем одну из самых замечательных эпох отечественной истории, давшей России и миру творческий гений Пушкина. В.Н. Бочков по сути дела художественно подтверждает и научно доказывает правоту известного суждения А.Н. Островского о том, что через Пушкина умнее все, что способно познать на Руси.

И вот мы видим, что даже А.К. Бошняк, “добровольный шпион” пушкинской поры, несет в своем характере отголоски той честности и порядочности, которые были в высшей степени присущи Пушкину, что даже склонный к авантюризму, легкомыслию и хлестаковщине П.П. Свинын по большому счету оказывается все-таки человеком пушкинского времени. Взгляд “от Пушкина” как бы предохраняет автора от любых односторонних и крайних суждений, заставляет его пристально и вдумчиво следить за всеми перипетиями биографий действующих в его книге лиц, давая стереоскопически полное, “пушкинское” их освещение. Вслед за Пушкиным автор считает, что “конкретный человек редко является законченным злодеем, для изображения которого довольно одной черной краски”, что даже на предосудительные деяния порой толкают человека далеко не низменные и не корыстные побуждения.

Такой подход позволяет В.Н. Бочкову в новом и неожиданном свете

представить героев своих очерков, обнажить односторонность тех опрометчиво-резких суждений о них, которые были свойственны сначала современникам, а потом закрепились в исторических трудах и памяти потомков. Автор воскрешает перед читателем живые судьбы людей пушкинского круга, нигде не отрываясь от фактической точности и научной достоверности. Но писательское чутье открывает при этом за сухим фактом художественный образ, за общим контуром события — зримую картину, придавая повествованию эстетическую яркость и увлекательность. Так, в рассказе о рождении Ивана Рупина он не ограничивается простой выпиской из ревизской сказки, но раскрывает перед читателем возможные варианты жизненной судьбы крепостного крестьянина. “Ему вероятнее всего предназначалась жизнь хлебопашца, гнувшего спину на барском поле и на своей скудной полоске”. И хотя Ивану Рупину повезло, ибо его владелец Юшков был страстным меломаном, драматизм и превратности судьбы крепостного в повествовании остаются, придавая рассказу не одномерное, плоскостное, а объемное, художественное освещение. Воображение помогает ученому дорисовать картину, на фундаменте точного факта создать образ, высветить человеческую судьбу — в этом несомненное и уникальное для краеведческих исследований достоинство книги В.Н. Бочкова, гарантирующее ей широкую читательскую аудиторию и долгую жизнь во времени. Перед нами ученый, который умеет исследовать действительность во всех ее деталях, мелочах и подробностях, и одновременно писатель, собирающий все эти детали и подробности в единый художественный образ.

В заключение отмечу, что талантливая, интересно написанная книга В.Н. Бочкова буквально рвется к современному читателю. Уже пресыщенный бульварными “мухоморами”, уже потянувшийся к добротным историческим сочинениям, он остро нуждается сейчас в пробуждении исторической памяти, без опоры на которую невозможно реальное возрождение России.

Ю.В. ЛЕБЕДЕВ,

доктор филологических наук, профессор,

член Союза писателей России,

заслуженный деятель науки Российской Федерации.

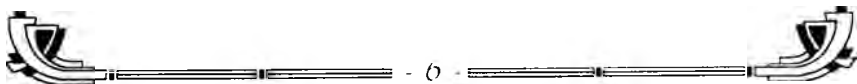


# Пушкин по имени Александр



Хорошо известно, что А.С. Пушкин очень интересовался своими предками и гордился древним, “историческим родом Пушкиных”. Не раз пускался поэт и в собственные генеалогические изыскания. “Дед мой, — пишет, например, он в “Начале автобиографии”, — служил во флоте и женился на Марии Алексеевне Пушкиной, дочери тамбовского воеводы, родного брата деду отца моего (который доводился внучатым братом моей матери”. Поскольку костромич Александр Юрьевич Пушкин имел к упомянутым лицам прямое отношение, расшифруем эту запись.

В 1746 году 29-летний капитан Алексей Федорович Пушкин вышел в отставку и поселился в тамбовских краях (в селе Покровском), в вотчине своей жены Сарры Юрьевны, урожденной Ржевской. В 1743 году у них родился сын Юрий, а в 1745 — дочь Мария. Юрий по традиции смолоду состоял на военной службе, но далеко не старым вышел в чине полковника в отставку, вернулся на родину и, женившись на Надежде Герасимовне, родной сестре



просвещенного публициста и переводчика Вольтера И.Г.Рахманинова, обосновался в родительском Покровском. На его глазах складывалась судьба сестры Марии. Та, получив порядочное образование и будучи ни дурнушкой, ни бесприданницей, все-таки “засиделась в девках”. Но в 1772 году на Липецкие заводы приехал по делам службы балтийский моряк Осип Абрамович Ганнибал, сын “арапа Петра Великого”. Человек с южным темпераментом, он увлекся дочерью соседнего помещика и, не долго думая, сделал Марии Алексеевне предложение. Молодожены жили то в Липецке, то в Покровском; в 1775 году у них родилась дочь Надежда.

Скороспелый брак оказался непрочным. “Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились разводом”, — констатировал поэт. Осип Абрамович отъехал в Петербург, куда, дождавшись появления у брата Юрия в июле 1777 года первенца и окрестив его, отправилась и Мария Алексеевна. Ее отсутствие в Покровском было, впрочем, непродолжительным, т. к. муж уже обзавелся новой женой. “Будучи нагло покинута с малолетней дочерью и оставшись без всякого пропитания, — сообщила обиженная в суд, — решила я ехать в деревню к своему отцу, который, увидев меня в столь бедственном состоянии, получил паралич, от которой болезни и скончался”. Это случилось все в том же 1777 году, и только через два года Мария Алексеевна с дочерью получила по суду на содержание одно из псковских имений Ганнибала — село Кобринно — и смогла покинуть принадлежавшее брату Юрию Покровское. Она поселилась с дочерью в Петербурге, где купила дом в “Преображенском полку” — здесь частым гостем стал ее юный племянник и крестник Александр: “Я, с 1785 года находясь в Сухопутном кадетском корпусе, — вспоминал он впоследствии, — почти всякую неделю по воскресениям и в праздники бывал у них и рос почти вместе с Надеждой Осиповной, которая, не имея родных братьев, любила меня, как родного”.

Таким образом, с бабушкой и матерью великого поэта Александр Юрьевич был с раннего детства связан теснейшим образом: они опекали его, принимали участие в его воспитании. Хорошо знал он и Сергея Львовича Пушкина: тот “был нам по отцу внучатым братом, служил в Измайловском полку и часто бывал у Марии Алексеевны”, а в 1796 году женился на Надежде Осиповне Ганнибал — надо полагать, родственник-кадет присутствовал на венчании.

Их жизненные пути переплетались и в дальнейшем. В ноябре 1797 года Александр Юрьевич окончил кадетский корпус и был выпущен прапорщиком в Астраханский гренадерский полк, расквартированный в Москве. Однако его разлука с семейством двоюродной сестры оказалась непродолжительной. В 1798 году Сергей Львович вышел в чине майора в отставку и переехал в ту же Москву, где устроился на службу по комиссариатской части в Немецкой Слободе. Без сомнения, одним из первых посетил их на новоселье юный гренадер, принятый совершенно по-родственному. Надежда Осиповна готовилась уже стать матерью, когда подпоручик Александр Пушкин вместе со своим Астраханским полком выступил в составе суворовских войск в Италию, разрушив тем самым семейные предположения сделать его крестным отцом ожидаемого первенца двоюродной сестры. “Наш полк в это время, — вспоминал позднее Александр Юрьевич, — был уже в походе, где я получил об рождении Александра Сергеевича от сестры письмо, что он на память мою назван Александром, а я заочно был его восприемником”.

Осенью 1799 года Астраханский полк вернулся в Россию, и А.Ю. Пушкин тотчас подал в отставку и приехал в Москву, но своих родственников и однофамильцев там не застал: они находились в Михайловском. Впрочем, и его пребывание было непродолжительным: еще в 1793 году скончался Юрий Алексеевич, дела по именным пришли в полное расстройство, и для приведения их в порядок понадобилось прожить несколько лет в Покровском.

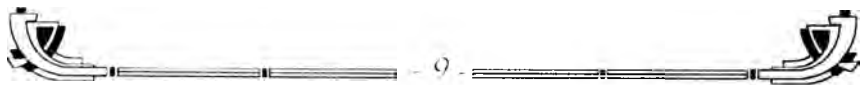


В это время его сношения с московскими родичами были, по-видимому, нерегулярными, ограничивались редкими письмами да передачей с оказией поклонов и подарков. Но взаимные симпатии от этого не ослабли. Когда, приведя в порядок имущественные дела, Александр Юрьевич решил вновь вступить в службу и отправился в начале 1806 года вновь в Петербург, то, будучи проездом в Москве, остановился на квартире своей тетушки Марии Алексеевны, радушно принявшей путешественника. На обратном же пути, вспоминал он, “по приглашению сестры Надежды Осиповны жил у них”.

С апреля 1806 года А.Ю. Пушкин определяется на службу в Московский почтамт — тогдашнюю цитадель вольномыслия, где его вскоре принимают в масонскую ложу, а московские родственники с традиционной готовностью принимают его в свою семью. “Я всегда находился у них”, — кратко подтверждает сам Александр Юрьевич. Он был любителем поэзии, грешил собственными стихами и в семье двоюродной сестры, где подрастал будущий великий поэт, слыл порядочным сочинителем. Конечно, он общался со своим маленьким тезкой, хотя тогда мог и не угадать его призвания.

Помимо родовой тамбовской вотчины, у А.Ю. Пушкина были небольшие имения и в других губерниях, в том числе и в Костромской, где ему в Буйском уезде принадлежала деревенька Высокое с 11 крестьянами, пожалованная его предкам еще в начале XVII века. Александр Юрьевич изредка наезжал туда, познакомился там с местной барышней Александрой Илларионовной Молчановой и посватался к ней. Она была дочерью средней руки помещика и имела в костромских краях обширную родню, впоследствии же ее родной племянник Дмитрий Васильевич Молчанов, служивший в Сибири, женился на дочери декабриста С.Г. Волконского — Марии Волконской, некогда пленнице великого поэта.

Свадьбу в 1807 году играли в Москве. Надежда Герасимовна,



мать жениха, за дальностью расстояния и слабостью здоровья, не приехала и свои полномочия передоверила золовке. “Мария Алексеевна., — подтверждает и сам А.Ю. Пушкин, — была на моей свадьбе и располагала всем вместо моей родной матери”. Не подлежит сомнению, что в брачных церемониях участвовали и Надежда Осиповна и Сергей Львович Пушкины.

Таким образом, Александр Юрьевич был одним из ближайших и любимейших родственников родителей поэта, своим, домашним человеком в их доме, знакомым, даже примелькавшимся своему великому тезке с самого детства. Он, правда, не был человеком, что называется, “столичным”, его тяготило пребывание в большой и суетной Москве. И в августе 1808 года А.Ю. Пушкин с легким сердцем оставляет почтамт и саму столицу и перебирается в Тамбов, определившись на службу в экспедицию казенных винокуренных заводов. Но на сей раз в Тамбове он прожил недолго. Умер тесть, Илларион Васильевич Молчанов, и по разделу с братом и сестрой Александре Илларионовне досталась в Костромской губернии усадьба Новинки с несколькими окрестными деревнями. Ими надо было управлять, здесь же, в Покровском, налаженным хозяйством занималась мать, Надежда Герасимовна. Александр Юрьевич не гнался за карьерой. В октябре 1809 года он выходит в отставку с чином титулярного советника и уезжает с женой в Костромскую губернию. Так тамбовский уроженец становится костромичом и остается им уже до конца жизни.

Ему полюбилась усадьба Новинки с большим деревянным домом с мезонином и густым парком, стоящая на реке Корбе невдали от столбового Вятского тракта. Там Пушкины проводили летние месяцы, зимы же они коротали в губернской Костроме, где приобрели поместительный деревянный дом на тихой Дворянской (она же Овражная) улице. Не сразу, но пошли и дети: в 1813 году — Николай, в 1816 году — Лев, а еще через три года — дочь Мария.



На службу Александр Юрьевич вновь поступать не торопился, так как средств для проживания имел достаточно, рачительно хозяйничая в принадлежащих ему имениях. Однако крестьян своих он не обирал и не угнетал, считался помещиком либеральным.

С московскими Пушкиными костромичи поддерживали не слишком интенсивную, но регулярную переписку. Но от Москвы до Костромы всего с небольшим триста верст, и оказии случались нередко: то провинциал-помещик или вернувшийся с вакаций студент заявится к Сергею Львовичу с поклоном от костромского родича, то приехавший с сенатской комиссией чиновник вручит Александру Юрьевичу небольшой презент и цидулку от московской сестрицы, оповестившей, между прочими новостями, и об отдаче сына-первенца в Царскосельский лицей. А в 1812 году вместе с массой беженцев из первопрестольной нагрянул в Кострому брат Сергея Львовича, известный поэт Василий Львович Пушкин, принятый здесь совершенно по-родственному.

Подрастающий Александр Сергеевич сам в Костроме не бывал и в непосредственные контакты с двоюродным дядюшкой, по-видимому, не вступал, но помнил его и был достаточно о нем наслышан. Об этом позаботилась прежде всего бабушка Мария Алексеевна, для которой костромич был после дочери ближайшим и любимым родственником. Недаром же поэт признавался:

*Люблю от бабушки московской*

*Я толки слушать о родне,*

*О толстобрюхой старине.*

А П.И. Бартенев, собиравший материал о детстве поэта, что называется, из первых рук, отмечал, что Мария Алексеевна “любила вспоминать старину, и от нее Пушкин насыщался семейных преданий, коими так дорожил впоследствии. Она рассказывала ему о знаменитом арапе Петра Великого и о других родственниках и предках своих и своего мужа”.



В 1820-х годах Александр Юрьевич все больше “вращается” в Кострому. Он окончательно порывает связи с Тамбовщиной, а принадлежащих ему там крестьян переводит в свою деревню Давыдково Костромского уезда. Пушкин прослыл умелым, даже образцовым хозяином — богатая генеральша М.И. Батурина предложила ему принять управление своим большим имением “Игрище” на границе Ярославской и Костромской губерний, на что он, не будучи связан государственной службой, согласился. Это дало ему неофициальное, но твердое положение. Вместе с тем растущая литературная известность его племянника также возвышает Александра Юрьевича в глазах костромичей. Костромские знакомые поэта, зная, что его родители находятся в постоянной семейной переписке с Костромой, осведомляются у хорошо информированного Александра Юрьевича о судьбе его тезки. Так, П.А. Катенин в письме из Костромы от 9 мая 1825 года извещал А.С. Пушкина: “С прискорбием услышал от дяди твоего, тамошнего жителя, что ты опять попал в беду” — имеется в виду ссылка в Михайловское.

В 1830-х годах Александр Юрьевич стал в костромском крае известной и авторитетной персоной, что выразилось в избрании его на почетный и ответственный пост совестного судьи. Совестные суды возникли в России при Екатерине II; они разбирали дела о преступлениях, совершенных малолетними или взрослыми в состоянии безумия, споры между родителями и детьми и т. д. Так как здесь судили не по существующим законам, а по “совести”, а решение принималось окончательное и обжалованию не подлежало, то большое значение приобретала сама личность судьи. На эту должность старались выбирать людей, пользующихся всеобщим уважением, с твердыми принципами и независимым характером. А.Ю. Пушкин переизбирался совестным судьей до самой смерти в 1854 году — тем самым костромичи демонстрировали свое доверие к нему. В 1850 году за многолетнюю службу он получил чин коллежского советника.



Как и бабушка поэта, А.Ю. Пушкин высоко ценил родственные узы и отлично знал родословное дерево Пушкиных. Об этом говорится в "записках" М.Д. Бутурлина, побывавшего в Костроме в 1840-х годах: "В Костроме служил тогда совестным судьёю старик Александр Юрьевич Пушкин, внучатый брат моей матери. Он кренко держался старобытных семейных традиций и первый был у меня с визитом, хотя я не был с ним знаком. Он с признательностью рассказывал мне, что, когда он был вынужден в офицеры при императоре Павле I, мой отец приказывал камердинеру своему Кашищеву наблюдать, чтобы вся обмундировка А.Ю. Пушкина была строго по форме, т. е. прусского покроя, с напудренными косами, висевшими на спине".

На закате дней Александру Юрьевичу представился случай поделиться воспоминаниями о раннем детстве поэта и его семье. В 1851 году в журнале "Москвитянин" публикуется исследование И.Берга "Сельцо Захарово". В нем содержался ряд неточностей, которые А.Ю. Пушкин и исправил в заметке "По поводу статьи И.В. Берга", напечатанной в "Москвитянин" за декабрь 1852 года. Ценные сведения, сообщенные А.Ю. Пушкиным, выходят далеко за рамки просто уточнений — ими широко пользуется современное пушкиноведение.

Потомство костромского родственника великого поэта надолго связало свою жизнь с костромской землей. Его внучка, Евгения Львовна Пушкина, всю жизнь проработавшая в родильных домах, после революции жила в Новинках. В 1923 году Российская Академия Наук обратилась в Кинешемский уездный исполком с просьбой сохранить старый усадебный дом в пользовании старого врача "как из уважения личных ее заслуг перед народом, так и в уважение памяти великого поэта". И Новинки действительно принадлежали последней из костромских Пушкиных до самой кончины Евгении Львовны в 1930 году.

# Наставник Пушкина



Томась в 1825 году в ссылке в псковском сельце Михайловском, Александр Пушкин написал знаменитое стихотворение “19 октября”. Там есть проникновенные строки:

*...да здравствует лицей!*

*Наставникам, хранившим юность нашу.*

*Всем честию, и мертвым и живым.*

*К устам подъяв признательную чашу.*

*Не помня зла, за благо воздадим.*

Среди тех, кому адресованы слова великого поэта, Иван Петрович Шульгин. И пусть во времена пребывания Пушкина в лицее, да и в 1825 году, Шульгин еще не входил в число ведущих профессоров (по годам почти ровесник лицесистов первого выпуска, он был скорее их товарищем), но редкие человеческие качества и яркая одаренность юного воспитателя вызывали у окружающих чувства уважения и симпатии к нему. Особенно сблизился Иван Петрович в лицее с друзьями Пушкина...

Шульгины — фамилия древняя, не уступающая и самим Пушкиным и восходящая к князьям Смоленским, но к XIX веку

настолько закосневшая и оскудевшая, что отцу лицейского воспитателя принадлежала лишь часть небогатой усадьбы Синцово, расположенной в Костромском уезде. Там 4 ноября 1797 года и родился Иван Петрович. Большая часть его детства прошла, однако, в Костроме, так как несколько крепостных “душ” никак не могли прокормить большую семью синцовских помещиков. Отцу пришлось тянуть лямку мелкого чиновника. Человек незаурядный и неуравновешенный, все свои надежды он возложил на любимого сына. “Детство свое он провел среди многочисленной семьи, — писал о Шульгине осведомленный земляк-биограф, — отец его был человек, сам не получивший образования, но хорошо понимающий всю пользу и необходимость его, а потому не щадил ни трудов, ни издержек для воспитания своего сына и, кроме общего элементарного образования, старался приохотить его к музыке и рисованию. В родной семье Иван Петрович был общим любимцем, и другие члены семейства часто должны были подчиняться его желаниям”.

В 1804 году открылась Костромская губернская гимназия. Несмотря на то что обучение там сына было не по средствам для мелкого чиновника, отец Шульгина в 1807 году отдает его туда. Все четыре класса тогдашней гимназии подросток оставался первым учеником. Его блестящие способности обратили на себя внимание, и после окончания гимназии Иван Петрович в 1811 году был отправлен учиться на казенный счет в Петербургский педагогический институт. Родители сознавали, что иного способа дать сыну высшее образование у них нет и не возражали против его отъезда, но разлука оказалась для них непосильна. Тот же биограф сообщает: “Отъезд из родительского дома сильно подействовал на мать его, и она, не будучи в силах перенести разлуку со своим любимцем, вскоре захворала и умерла; с ее кончиной исчезла та внутренняя связь, которая поддерживала эту семью; после смерти жены отец Ивана Петровича почти бросил своих детей”.

Но “семейное начало” и обостренное чувство ответственности за близких было определяющим в характере костромича на протяжении всей его жизни. Узнав о безвыходном положении оставшихся в Костроме малолетних сестер, 14-летний студент взял их на свое содержание. Вскоре после поступления в институт он прославился как превосходный домашний учитель, набрал множество частных уроков по всему Петербургу и, жестоко экономя на личные расходы каждую полушку, почти все заработанные деньги регулярно отправлял в Кострому. Тем не менее, несмотря на загруженность уроками, Шульгин был в числе наиболее успевающих студентов Педагогического института. Его взял под опеку земляк, профессор института (впоследствии академик) К.И. Арсеньев. В 1806 году Константин Иванович, лучший воспитанник философского класса Костромской духовной семинарии, был направлен в Петербургский педагогический институт и после его окончания был оставлен там преподавателем. Прогрессивный ученый, он оказал большое влияние на формирование мировоззрения Шульгина, по-человечески обогрел его, ввел в свою семью. Шульгин всю жизнь с благодарностью вспоминал о своем учителе и старшем друге.

В 1813 году Иван Петрович окончил Педагогический институт. Ему было всего 16 лет, и на некоторое время он был оставлен при институте, получив временные уроки в различных учебных заведениях. Но долго так продолжаться не могло. Отчаявшись найти устраивавшее его место в Петербурге, Шульгин совсем было решил ехать учителем в Иркутск, но институтский профессор статистики Зябловский, с которым костромич поделился своими намерениями, успел вовремя отговорить его. На помощь пришел К.И. Арсеньев: он узнал, что появилась вакансия в Царскосельском лицее, и, употребив все свое влияние, добился предоставления этого места, считавшегося завидным и выгодным, нигде еще по существу не служившему и совсем юному Шульгину. В 1816

году тот получил долгожданное назначение гувернером и учителем истории и географии в лицейский пансион, а через месяц его определяют дополнительно и преподавателем истории и географии в младших классах Лицея. Поскольку уже на первых же порах Иван Петрович зарекомендовал себя прирожденным педагогом, то с 1817 года его повышают до адъюнктов профессора исторических наук.

Получив при Лицее казенную квартиру, Шульгин перевозит из Костромы семью — четырех братьев, двух сестер и престарелую родственницу и становится их единственным кормильцем, продолжая помогать и сестрам, оставшимся в Костроме. Конечно, его скромного жалования не хватает на содержание столь большого семейства, и Иван Петрович постоянно нуждается в приработках. С 1818 года он служит в Лицее канцелярским чиновником, а главное, продолжает давать уроки в Петербурге. Регулярного сообщения между столицей и Царским Селом тогда не было, учитель часто ходил в Петербург пешком и “возвращался назад всегда бодрый, веселый и довольный судьбой”.

Костромская гимназия и Педагогический институт дали Ивану Петровичу основательные знания, но и в Царском Селе молодой преподаватель неустанно занимается самообразованием. Он много читает, следит за новой литературой — именно здесь и тогда было положено начало огромной шульгинской библиотеке. Кроме того, в Лицее он по-настоящему изучил немецкий и французский языки, пользуясь тем, что многие воспитанники знали их в совершенстве.

Многочисленные занятия и семейные заботы не мешали Шульгину быть общительным, компанейским человеком. Хотя преподавал он первоначально в младших классах, служба гувернером и, в сущности, репетитором лицейского пансиона понуждала его вступать в контакты со всеми без исключения лицеистами, жизнь которых он наблюдал как бы изнутри, в домашней атмосфере. И сам Шульгин раскрывался для своих воспитанников и в повседневной обстановке, и в классной аудитории. К сожалению,



не сохранилось воспоминаний о Шульгине первых лицейстов. А вот М.А. Белуха-Кохановский, обучавшийся в лицее в 1820-1826 годах, вспоминает: “В старшем классе мы особенно любили... И.П. Шульгина, который увлекательно читал статистику, всегда без помощи каких-либо записок — мы на лету записывали его лекции”.

Ему вторит и другой лицейст, К. Веселовский: “И.П. Шульгин был наиболее любимым нашим профессором. Человек с прямым, открытым характером, он невольно располагал к себе, в своих сношениях с воспитанниками проявлял душевную приветливость и сердечное радушие. Он был замечательно умен, талантлив и, любя свой предмет и хорошо владея им, всегда умел оживлять свое изложение не риторическими фразами, а талантливой группировкой фактов. Его лекции были в числе тех, которые наиболее врезывались в память и обогащали понятие слушателей. Он у нас читал в 3-м классе физическую географию и историческую топографию России. Не знаю, готовился ли он к каждой лекции, но читал ее всегда свободным словом, не имея перед собой никаких записок, и я, увлекаясь столько же предметом, сколько и изяществом изложения его, усердно записывал его”. А так как Шульгин говорил очень внятно, не торопясь, “мерною и плавною речью”, то Веселовский и записывал за ним весь лекционный курс.

Несомненно, за открытый характер и душевную приветливость полюбили Ивана Петровича и лицейсты первого, пушкинского выпуска, прощавшиеся с ним как с другом. Лицейские поэты, Кюхельбекер и Дельвиг, посвятили ему стихи. В стихотворении “И.П. Шульгину”, напечатанном в том же 1817 году в журнале “Сын Отечества” с подписью “Вильгельм”, автор писал:

*Должен, Шульгин, и с тобою расстаться!*

*Ты знал мое сердце,*

*Ты драгоценен мне был: ты не забудешь меня!*

*Щастье в самих нас: в суетном мире*

*забот хлопотливых,*



Шумных веселий и мук счастья я не найду.  
Свет не узнает меня: ему ли восторги, мечтанья,  
Чувства те оценить, в коих блаженства тонки,  
В коих я жизнь вкушал? Но в памяти сердцу любезных  
Сладостно жить, Шульгин, сладостно помнить друзей!  
Вскоре из Кременчуга от находившегося там Дельвига пришло  
послание "К Шульгину":

Прощай, приятель! От поэта  
Возьми на память пук стихов.  
Бог весть, враждебная планета  
В какой закинет угол света  
Его, с младых еще годов  
Привыкшего из кабинета  
Не выставлять своих очков!  
Бог весть, увидим ли разлуку,  
Перекрестясь, мы за собой?  
Как обнимусь тогда с тобой!  
Рука сама отыщет руку,  
Чтоб с той же чистою душой -  
Но, может быть, испившей муку -  
Схватить ее и крепко сжать!  
Как дружных слов простому звуку  
Мы будем весело внимать!  
Ты, может быть... но что мечтами,  
Что неизвестным мучать нас?  
Мне ль спорить дерзко со слезами,  
Потечь готовыми из глаз?  
Что будет — будет! С небесами  
Нельзя нам спорить, милый друг!  
Останься ж с этими стихами  
До первого пожатья рук.



Процитированные стихи с обращениями “милый друг” и на “ты”, с объятиями и рукопожатиями и т. д. несомненно свидетельствуют о короткости отношений между Шульгиным и близкими друзьями Пушкина по Лицею, тем более что прочие преподаватели и служители стихов все-таки не удостоились. Недаром историк Лицея Н. Гастфрейнд тоже выделяет из десятков лиц, с которыми общались лицеисты, именно Ивана Петровича: “Среди учебного персонала Лицея у первокурсников также были свои друзья. Почти большинство первокурсников были если не сверстниками их, то по крайней мере немногим моложе их. Так, например, Шульгин, занимавший в то время незначительную должность, был очень любим некоторыми первокурсниками, как, например, Кюхельбекером, бароном Дельвигом и, может быть, другими”.

“Может быть, другими” — это, конечно, осторожный намек на А.С. Пушкина. Пушкиноведы не располагают конкретными данными о характере отношений между поэтом и его “наставником”, но, по-видимому, они мало чем отличались от отношения к Шульгину, например, того же Дельвига.

Но в 1817 году поэт покинул Лицей, а Шульгин там остался и упрочился. Казалось бы, судьба далеко развела их, однако пройдет время, и она вновь соединит старых знакомых. В 1821 году Иван Петрович отказался от обременительных обязанностей гувернера, оставшись в Лицее преподавателем статистики и географии во всех классах. В следующем году увидела свет первая книга Шульгина “Руководство ко всеобщей географии” в двух частях, получившая широкое распространение в качестве учебника. Позднее 300 экземпляров этой книги автор пожертвовал на сооружение памятника Ивану Сусанину в родной Костроме.

В 1823 году молодой ученый женился на Е.В. фон Рицк, с которой познакомился в доме своего друга профессора К.И. Арсеньева. “Я женюсь, милые друзья мои, — пишет он сестрам в Кострому, — а потому посылаю вам вдвое больше, чем уделял до

сего времени; не знаю, скоро ли буду в состоянии выслать еще”. Отныне Ивану Петровичу пришлось содержать не только сестер, но и собственное ежегодно увеличивающееся семейство. В поисках заработка он преподавал сразу в нескольких учебных заведениях и еще давал частные уроки — на научные занятия времени почти не оставалось. Тем не менее, в 1832 году издается его обстоятельная и ценная книга “Изображение характера и содержания трех последних веков”, удостоенная Демидовской премии. Передовая общественность России дала высокую оценку труду. Так, В. Кюхельбекер, находившийся в сибирской ссылке, заносит в дневник: “Начали у нас в журналах, хоть изредка, показываться не переводные статьи европейские. Такою, например, может в “Сыне Отечества” называться “Изображение характера и содержания трех последних столетий”. Тут нового, конечно, мало; но все же это, конечно, не пошлое повторение обыкновенных школьных разглагольствований”.

Жизнь преподавателя, как правило, бедна событиями: уроки, книги... Так было и у Шульгина, выдвинувшегося в конце 1820-х годов в число ведущих профессоров Царскосельского Лицея, любимого и уважаемого воспитанниками: “Профессор русской истории И.П. Шульгин заставлял нас работать с особым рвением, — отмечал под 1832 годом А.Н. Яхонтов. — Его веское, дельное изложение событий, умение картинно группировать их были уже знакомы с того времени, когда он, преподавая нам еще в 3-м классе географию России, увлекательно излагал историю каждой губернии отдельно. Теперь мы сами составляли лекции, записывая их с его слов и ловя слова его на лету, так как говорил он скоро, не останавливаясь”.

К началу 1830-х годов Иван Петрович становится признанным ученым, специалистом по всеобщей истории. В это время он издает начало учебника всеобщей истории, часто публикуется в журналах. И Кюхельбекер, следящий за научной деятельностью своего учителя, констатирует, что тот “у нас принадлежит к небольшому числу людей мыслящих”.



В 1833 году Шульгин приглашается занять место профессора на кафедре всеобщей истории Петербургского университета, и в том же году становится там деканом историко-филологического факультета. Он “прижился” к университету, быстро усвоил его традиции, вник в подводные течения его внутренней жизни и сложные отношения с властями. Поэтому никого не удивило, когда уже в 1834 году Ивана Петровича назначают ректором Петербургского университета.

На этом высоком посту он вновь соприкасается с А.С. Пушкиным. Великий поэт был дружен с Н.В. Гоголем, в 1834 году назначенным в университет адъюнкт-профессором всеобщей истории (профессором был сам Шульгин). Преподавание не удалось Гоголю, он сам понимал это и читал лекции недолго — с сентября 1834 по конец 1835 годов. Но иногда на его лекции приезжали А.С. Пушкин и В.А. Жуковский, тогда в аудиторию являлся и Шульгин — Гоголь преображался, говорил с кафедры с воодушевлением, увлекая слушателей.

Поведение Ивана Петровича по отношению к Гоголю было безупречным, хотя молодой ассистент доставлял ему немало хлопот. Бывший студент Петербургского университета Н.И. Иваницкий вспоминает: “Наступил экзамен. Гоголь приехал, подвязанный черным платком: не знаю уж, зубы у него болели, что ли. Вопросы предлагал бывший ректор И.П. Шульгин. Гоголь сидел в стороне и ни во что не вступался”.

Дружеские отношения между профессором и его незадачливым помощником подтверждает и сохранившийся экземпляр книги “Вечера на хуторе близ Диканьки” с надписью: “Ивану Петровичу Шульгину в знак искреннего уважения и привязанности от Гоголя”. Да и само назначение Гоголя в университет не могло состояться без согласия Шульгина — не Пушкин ли и просил его об этом?

Иначе сложились отношения Ивана Петровича с тогдашним его студентом И.С. Тургеневым. Тот мечтал об ученой карьере, для



чего требовалось при выпуске получить звание кандидата. При сдаче выпускного экзамена по всеобщей истории Шульгину Иван Сергеевич, плохо зная предмет, пытался мистифицировать экзаменатора. Шульгин не поверил ему, стал задавать вопросы по хронологии и в результате поставил низкую оценку. Тургеневу пришлось отказаться от первоначальных намерений, русская же литература приобрела замечательного писателя.

Лекции самого Шульгина, даже их изложение, пользовались в университете популярностью. По словам одного из его студентов, “Шульгин читал новую историю своим в высокой степени оригинальным языком”. Одновременно почти до смерти Пушкина он оставался профессором географии и статистики в Царскосельском Лицее. Иван Петрович любил Лицей, не мыслил без него свою жизнь и был тесно связан с ним до смерти, будучи там с 1840 по 1862 годы профессором всеобщей и русской истории, а с 1851 по 1869 годы — членом Совета. Эту его преданность учебному заведению ценили лицеисты всех выпусков.

Меньше повезло Шульгину с ректорством. Этот пост требовал умения лавировать в высших сферах, не портить отношений с влиятельными профессорами, внушать страх студентам. Иван Петрович такими качествами не обладал. Профессор А.В. Никитенко записал в дневнике: “Шульгин, наш профессор истории и ректор, имеет общий ум. Говорит точно и приятно, хотя без особенной силы. Но ректорство не удалось ему: он почти в постоянных столкновениях с попечителями и с товарищами, из которых многие к тому же старше его и по летам, и по службе. Подчиненные в свою очередь не любят его за то, что не особенно с ними ласков; но у него редкая, похвальная черта, особенно для ректора университета: он не способен к лести и искательству перед сильными”.

Ректором Петербургского университета Шульгин оставался до 1840 года. В этот период он сблизился с профессором Петром

Александровичем Плетневым, другом А.С. Пушкина, который, приезжая к нему в университет, не раз виделся и беседовал и с Шульгиным.

Многочисленные педагогические и административные обязанности по-прежнему не оставляли Ивану Петровичу достаточно времени для учебных занятий. Он работает над учебником по всеобщей истории, но издает только его начало, объявляет о намерении выпустить “Статистический Ежегодник” и “Историю юго-западной России”, но и тут дальше сбора материалов дело не продвинулось. Ученый сумел закончить и издать в 1837 году лишь монографию “Изображение характера и содержания первых десяти веков новой истории”, в следующем году он переработал ее вместе с “Историей трех последних столетий” и напечатал вторым изданием. Эта книга тоже была удостоена Демидовской премии и нашла признание у читателей. В. Кюхельбекер писал: “Шульгин — с дарованием, взгляд его на историю не без глубокомыслия, слог у него иногда истинно прекрасен”. А поэт Сергей Глинка откликнулся на выход книги восторженными стихами:

*За дар простой, но дар сердечный*

*Мне десять подари веков!*

*Стяжал себе венец ты вечный,*

*Былое оживляя вновь.*

*Ты зрел гигантское паденье*

*Несытых властью римлян,*

*Европы видел объявление,*

*И кем урок был Риму дан.*

*И твой урок, друг незабвенный,*

*Ум освежая, мысль явит*

*Тому и памятник нетленный.*

*Кто десять нам веков дарит.*

За свои научные труды Иван Петрович был избран членом Академии Наук. Опытнейший педагог и известный общественный деятель, он назначается членом-корреспондентом статистического



отделения Министерства Внутренних дел и ученого комитета Министерства государственных имуществ, а затем и членом Совета этого министерства, наставником-наблюдателем за преподаванием политических наук во всех военно-учебных заведениях (Шульгин был участником всех преобразований в этих заведениях). Профессор Петербургского университета, Александровского лицея и училища правоведения, он вдобавок с 1839 года преподавал историю и статистику великим князьям. Чрезмерная занятость изнуряла ученого, он начал “отставать от века”. Лицеист 1840-х годов Н.А. Корф отзывался о нем уже сдержанно: Шульгин “был человек очень знающий и способный, обладал хорошим даром слова, но к тому времени, когда мне пришлось его слушать, устарел и перестал трудиться над наукой и, пользуясь своим генеральским чином, был гораздо более озабочен тем, чтобы новые перепечатки составленных им руководств находили себе сбыт, так как он был обременен чрезвычайно многочисленным семейством, нежели тем, чтобы увлекать слушателей. Но как ни старо было то, что преподавал нам Шульгин, и как ни клонили ко сну его самого его же лекции, но курс его имел большое значение для моего развития. Шульгин начинал, как оказалось впоследствии для меня из чтения, с весьма полного изложения данных из прекрасной книги Гизо “История цивилизации в Европе”.

В 1866 году, в день 50-летия педагогической деятельности Шульгина, его избрали почетным членом Петербургского университета. Последние годы жизни Иван Петрович, скончавшийся в Петербурге 3 апреля 1869 года, провел в кругу семьи и друзей, ближайшими из которых были известный военный деятель Д.А. Милютин и академик К.Я. Грот. По словам биографа, он “до конца своих дней сохранял свежесть умственных сил и интерес к общественной жизни. Как человек Шульгин всегда отличался прямым, открытым характером, приветливостью и радушием”.



# “Многие много тебе обязаны”



*В* 1825 году Павел Александрович Катенин пишет в известной степени автобиографическое стихотворение “Элегия”. Ее герой поэт Эвдор — сын благородных родителей, бывших “воинами”. Воин и сам Эвдор, но “духом незлобный, лирой в груди заглушал военные крики”. Когда же царь стал преследовать правдивых и смелых, Эвдор “укрылся в наследие предков”:

*К сельским трудам не привыкший, лирой любезной*

*Мнил он наполнить всю жизнь и добыть себе славу.*

Действительно, во время создания “Элегии” поэт жил в костромской наследственной усадьбе, наполняя свою жизнь литературой.

Род Катениных был исконно костромской, родители — чиновны и состоятельны. Отец Александр Федорович — генерал-лейтенант, сподвижник Суворова; мать, Доротея или по-русски Дарья Андреевна, гречанка, дочь генерал-поручика артиллерии и директора Сухопутного кадетского корпуса А.Я.Пурпура — от нее сын унаследовал пылкий южный темперамент.

Павел Александрович родился 11 декабря 1792 года. Обычно его родиной называют село Шаево Кологривского уезда, однако его родители купили Шаево уже в 1794 году и никогда там не жили — их костромской резиденцией являлась усадьба Бореево Чухломского уезда. В ней, а вероятнее, в Петербурге, где у генеральши Катениной был собственный каменный дом, поэт и родился. Во всяком случае, его детство прошло в Петербурге.

Природа наделила Катенина выдающимися способностями, а родители дали блестящее образование. Он рано взрослеет и на 14-м году от роду причисляется к Департаменту народного просвещения. Он попадает под начальство переводчика и видного знатока античной литературы И.И. Мартынова, а среди сослуживцев оказались поэты Гнедич и Батюшков. В столь благоприятных условиях быстро развился поэтический талант самого Катенина. В 1810 году в журнале “Цветник” публикуются первые переводы и переделки из Вергилия, Вийона, Оссиана и Гесснера, а в феврале 1811 года на петербургской сцене ставится в его переводе трагедия Т. Корнеля “Ариадна”.

Все это обнаруживает в юном авторе широкую образованность и великолепное знание мировой литературы. В самом деле, Катенин был в ряду современников настоящим уникалом. Его земляк лексикограф Н.П. Макаров свидетельствовал, что “Катенин принадлежал к самым образованным людям своей эпохи... Он познакомился в оригинале со всеми выдающимися памятниками французской, немецкой, английской, итальянской, испанской и классических литератур, и его феноменальная память усваивала все слышанное и в любую минуту могла привести множество цитат почти слово в слово”, познания же его охватывали все “предметы, подлежащие книгопечатанию: поэзию, историю, беллетристику, философию, богословие, точные науки, обществоведение”.

Макарову вторит П.А. Каратыгин: “Положительно можно сказать,



что не было всемирно-исторического факта, который бы он не мог объяснить со всеми подробностями, в хронологии он никогда не затруднялся — это просто была живая энциклопедия”.

Перемена службы на время прервала литературные занятия Катенина. Семейные традиции и личные наклонности увлекли-таки юношу на военную стезю — в марте 1810 года он переводится портупей-прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк, а в феврале 1811 года получает первый офицерский чин. Позднее он рассказывал А.Ф.Писемскому: “Я-с был девятнадцати лет от роду титулярный советник, чиновник... но когда... моей матери объявили, что я поступил солдатом в полк, она встала и перекрестилась: “Благодарю тебя, Боже, — сказала она, — я узнаю в нем сына моего”.

Весной 1812 года Павел Александрович выступает со своим полком к западной границе. С первых дней Отечественной войны он участвует в сражениях, продельывает заграничный поход русской армии 1813-1814 годов, вступает с гвардией в Париж. Там он более всего интересуется театром, заводит знакомства с прославленными французскими актерами, приступает к разработке оригинальной системы взглядов на искусство. Вместе с тем пребывание в Западной Европе побудило Катенина критически взглянуть на социально-политический строй царской России и привело к выводу о необходимости коренного его преобразования. Катенин стал противником крепостного права: приехав в декабре 1814 года в усадьбу Бореево, он передает матери (отец скончался еще в 1808 году) принадлежащую ему часть имения.

В Россию молодой гвардейский офицер вернулся уже зрелым поэтом: в 1815 году в ведущем тогда журнале “Сын Отечества” публикуются его уходящие истоками в русский фольклор баллады “Леший”, “Убийца” и другие. Тогда же он заявляет себя как



переводчик-экспериментатор, не боящийся отступать от текста оригинала: в мае 1816 года ставится трагедия Расина “Эсфирь” в переводе Катенина, вскоре изданная отдельной книжкой, а в “Сыне Отечества” появляется его баллада “Ольга” — вольный перевод “Леноры” Бюргера. В ней Катенин смело бросил перчатку В.А. Жуковскому, переведшему “Ленору” совсем в другом стиле. Перевод Катенина вызвал целую бурю в литературе. Постепенно вокруг Павла Александровича сформировалась группа единомышленников-литераторов: А.С. Грибоедов, А.А. Жандр, Д.П. Зыков, С.Ф. Яковлев, Н.И. Бахтин, позднее к ним присоединился В. Кюхельбекер.

Занимая активные позиции в литературе, Катенин играл видную роль и в общественно-политическом движении того времени. Он становится в 1816 году членом раннедекабристского тайного общества “Союз спасения”, а в период пребывания в 1817-1818 годах гвардии в Москве возглавлял тамошнюю “управу” этого Союза. После роспуска “Союза спасения” Катенин вступает в “Союз добра и правды”, преследующий цели искоренения “зла” в государстве, разработки проектов отмены крепостного права и принятия конституции. Не приходится, однако, сомневаться, что убеждения Катенина гораздо радикальнее: об этом свидетельствуют хотя бы вольные переводы, с усилением революционного звучания, “Гражданского гимна” де Буа (“Отечество наше страдает под игом твоим, о злодей!”) и монолога Цинны из одноименной трагедии Корнеля, где восхваляется убийство тирана-императора.

Признанный поэт и переводчик, законодатель театральной моды, завзятый спорщик, известный своими прогрессивными взглядами, Катенин не мог не привлечь к себе внимания только что выпущенного из Лицея Александра Пушкина. С другой стороны, Павел Александрович много слышал от общих знакомых о гениальном юноше. Их встреча была неминуемой, и впоследствии Катенин описал ее:

“Знакомство мое с А.С. Пушкиным началось летом 1817 года. Был я в театре, Семенова играла какую-то трагедию; кресла мои с правой стороны во втором ряду, в антракте увидел я Гнедича, сидящего в третьем ряду несколько левее середины, и как знакомые люди мы с ним раскланялись издали. Не дожидаясь маленькой пьесы и проходя мимо меня, остановился он, чтобы познакомить меня с молодым человеком, шедшим с ним вместе: “Вы его знаете по таланту, — сказал он мне, — это лицейский Пушкин”. Я сказал новому знакомому, что, к сожалению, послезавтра выступаю в поход, в Москву, куда шли тогда первые батальоны гвардейских полков; Пушкин отвечал, что и он вскоре отъезжает в чужие края; мы пожелали друг другу счастливого пути и разошлись.

Из Москвы возвратился я через год... пришел ко мне слуга доложить, что меня ожидает гость: Пушкин...

Гость встретил меня в дверях, подавая в руки толстым концом свою палку и говоря:

— Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи.

— Ученого учить — портить, — отвечал я, взял его за руку и повел в комнаты; через четверть часа все церемонии кончились, разговор оживился, время неприметно прошло, я пригласил остаться отобедать; пришли еще кой-кто, так что новый знакомец ушел уже поздним вечером. Желая быть учтивым и расплатиться визитом я спросил: где он живет? Но ни в первый день, ни после, никогда не мог от него узнать; он упорно избегал посещений. Сам, напротив, полюбив меня с первого разу, очень часто запросто посещал, и едва ли эта первая эпоха нашего знакомства была не самая лучшая и для обоих приятная”.

Отчасти Катенин был прав, утверждая, что в 1818-1819 годах являлся как бы наставником юного Пушкина. Действительно, он много способствовал тому, что Пушкин изменил свои взгляды на



поэтику Батюшкова и Жуковского и пересмотрел свое прежде проницательное отношение к писателям круга “Беседы любителей русского слова”. Катенин, в частности, познакомил Пушкина со своим приятелем А.А. Шаховским, которого тот резко задел в 1816 году в послании “К Жуковскому”, о чем позднее жалел. В 1826 году Александр Сергеевич сам признал благотворность катенинского влияния: “Многие (в том числе и я) много тебе обязаны; ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях”. Недаром глубокий знаток русской литературы Ю.Г. Оксман констатирует: “В борьбе за новую национально-демократическую литературу, за актуальную политическую тематику, за расширение поисков в области метрики и ритмики русского стиха, за новые средства поэтической выразительности вообще, черпаемые из русского фольклора и древней литературы, Пушкин оказался гораздо ближе Катенину, чем к своим недавним товарищам по “Арзамасу”.

Любопытно, что Пушкин перенял у своего старшего и весьма самоуверенного друга и саму манеру поведения. Они имели схожую внешность: М.П. Погодин отмечал, что Катенин — “прототип, по наружности, Пушкина”. А А.С. Шевырев прямо указывал: “Катенин... имел огромное влияние на Пушкина; последний перенял у него все приемы, всю быстроту своих движений; смотря на Катенина, можно было беспрестанно вспоминать Пушкина”.

Однако уже в 1820 году Пушкин стал освобождаться от катенинского влияния, все более критически относясь к своему “наставнику”: “Он опоздал родиться, — читаем мы в апрельском письме 1821 года, — и своим характером и образом мыслей весь принадлежит XVIII столетию. В нем та же авторская спесь, те же литературные сплетни и интриги”, а в черновике письма сказано еще резче: “Не идеями (которых у него нет) — но характером принадлежит он к XVIII столетию: та же авторская мелкость и

гордость”. Отзыв явно несправедлив; впрочем, письмо адресовано известному антагонисту Катенина П.А. Вяземскому и написано в то время, когда молодой Пушкин, по словам Катенина, “приметно старался, угождая каждому, со всеми уладить”.

Между тем над головой Катенина сгустились тучи. Активная деятельность гвардейского полковника стала представляться правительству слишком опасной, тревожило и то, что в доносах его именовали “оракулом Преображенского полка, регулятором полкового мнения и действий молодых офицеров”. В октябре 1820 года Павел Александрович, даже без видимого повода, увольняется в отставку, а через два года под смехотворным предлогом и вовсе высылается из столицы. Он вынужден поселиться в глухой кологривской усадьбе Шаево (родовое Бореево унаследовал старший брат Петр). “С Пушкиным, — вспоминал Павел Александрович, — разнесла меня судьба на многие годы — меня заперла в деревне, а его пустила странствовать по свету. Я писал к нему однажды и получил ответ из Кишинева”.

Он продолжает зорко следить за творчеством своего гениального друга, тем не менее воспринимая его всегда с оговорками. Так, в марте 1822 года в “Письме к издателю “Сына Отечества” Катенин констатирует: “Из молодых писателей упоминаете вы об одном Пушкине; он, конечно, первый между ими, но...” И это “но” красной нитью проходит через всю историю его отношений с Пушкиным. Глубокий и самобытный ум, поэт, блестяще владеющий техникой стиха, создатель “оригинальной эстетической системы, которая не укладывается в рамки ни классицизма, ни романтизма, которая отразила своеобразие путей развития русской эстетической мысли”, Катенин был одним из тех редких писателей-современников Пушкина, на которых тот не оказал заметного влияния. Некоторые произведения Пушкина он попросту отвергает: “Бахчисарайский фонтан”, — пишет он из Шаева Н.И. Бахтину, — что такое, и



сказать не умею; смысла вовсе нет”. Иногда он упрекает Пушкина за заимствования у других поэтов, в том числе и у него самого: “...прочел и Пушкина Полтаву: вещь не без достоинств, но лучшие места не свои, тут и Данте, и Гете, и Байрон, и Петров, и Ваш покорный слуга использованы”.

Но отношениями с Пушкиным костромич дорожил — после некоторого перерыва их переписка возобновляется: “В конце зимы жил я в Костроме, любезнейший Александр Сергеевич, — сообщал Катенин 9 мая 1825 года, — и с прискорбием услышал от дяди твоего, тамошнего жителя (Александра Юрьевича Пушкина. — **В.Б.**), что ты опять попал в беду и поневоле живешь в деревне... Сделай одолжение, извести меня обо всем; ты перестал писать ко мне так давно, я сам два года с половиной живу так далеко от всего, что не знаю ни где ты был, ни что делал, ни что с тобой делали”. И поэт готовно откликается: “Ты не можешь себе вообразить, милый и почтенный Павел Александрович, как обрадовало меня твое письмо, знак неизменившейся твоей дружбы... Наша связь основана не на одинаковом образе мыслей, но на любви к одинаковым занятиям”. Он действительно высоко ценит друга и как поэта: “Душа просит твоих стихов”, и как переводчика:

*...наш Катенин воскресил*

*Корнеля голос величавый,*

и особенно как критика: “Голос истинной критики необходим у нас; кому же, как не тебе, забрать в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление? Покамест, кроме тебя, нет у нас критика”.

Получив разрешение, Катенин в августе 1815 года возвращается в Петербург. Но без Пушкина он чувствует себя в столице одиноко: отношения с Рылеевым и А.А. Бестужевым, задававшими здесь тон в литературных кругах, и без того неприязненные, еще обострились после того, как Павел Александрович в нашумевшей истории с



дуэлью между Черновым и Новосильцевым высказал сочувствие “аристократу” Новосильцеву. Отчасти этим объясняется, возможно, и отсутствие Катенина на Сенатской площади в день 14 декабря. Человек настроения, он все же сознает “нелогичность” своего поведения и в письме от 14 марта 1826 года сообщает Пушкину, что из Костромы “весьма долго ко мне ни слова не пишут; вероятно, по той причине, что и меня изволят считать в числе заточенных”.

После возвращения в Петербург и Пушкина тесные сношения его с Катениным возобновились. Он был едва ли не единственным из известных литераторов, кто с похвалой отзывался о катенинской трагедии “Андромаха”, над которой автор трудился девять лет и которую считал лучшим своим произведением. Поставленная на столичной сцене в 1827 году, она потерпела полный провал и была встречена насмешками критиков. Пушкин же “досадовал на московских литераторов за то, что они разобрали “Андромаху”, и даже позднее продолжал считать ее, “может быть, лучшим произведением нашей Мельпомены по силе истинных чувств, по духу истинно трагическому”.

Однако тогда пушкинская оценка осталась гласом вопиющего в пустыне. Оскорбленный и разочарованный неудачей “Андромахи”, Катенин в июне 1827 года решил вновь уединиться в костромской деревне. В эти грустные дни Александр Сергеевич удваивает внимание к приятелю: “Когда настал последний день, — вспоминал Павел Александрович, — пригласил я многих своих приятелей на прощальную вечеринку, но сам, озабоченный укладкою, коляскою, лошадьми и прочими скуками сбора в дорогу, попросил А.С. заменить меня в хозяйничании разговором с гостями; он согласился как раз и усердно весь вечер проработал, а когда уже и ночь (петербургская в июне) перешла в утро и я совсем был готов ехать, Пушкин, жалуясь, что со мной мало беседовал, предложил пешком проводить до Невской заставы; так мы прогулялись прекрасным



утром и расстались за шлагбаумом; я сел в коляску, а ему попался запоздалый извозчик”.

Катенин был слишком самобытной и независимой личностью, чтобы понасть под влияние Пушкина — напротив, с первых месяцев их знакомства он привык судить творчество и поведение младшего товарища строго и пристрастно. Из костромской деревенской глуши он прислал Пушкину в 1828 году балладу “Старая быль”, где в аллегорической форме осудил друга за прозвучавшие в стихах “Стансы” и “Друзьям” нотки примирения с самодержавием. Балладу он сопроводил более прозрачным “Посланием” А.С. Пушкину. Тот, конечно, понял смысл аллегории: опубликовав “Старую быль” в альманахе “Северные цветы на 1829 год” (но без “Послания”), Пушкин там же напечатал полный скрытого сарказма “Ответ П.А. Катенину”. В марте 1829 года костромич раздраженно писал Н.И. Бахтину: “Не цензура не пропустила моей приписки Саше Пушкину, но... он сам не заблагорассудил ее напечатать: нельзя ли ее рукописно пустить по рукам для пояснения его ответа?”

Сам Катенин был последователен в своих революционных убеждениях, что подчеркивал, например, в стихотворении “Гений и поэт” — приветственном отклике на июльскую революцию 1830 года:

*Взор, присущий утомленным,  
Слух, усталый от сует,  
Обрати на обновленный,  
Возрождающийся свет.  
Зри, как целые народы,  
Пробужденные от сна,  
Вдруг отчизны и свободы  
Водружают знамена.*

Такую же последовательность Павел Александрович проявил и как исследователь мировой литературы. В 1830 году он, наконец, откликнулся на призыв Пушкина пятилетней давности: “Если б



согласился ты сложить разговоры твои на бумагу, то великую пользу принес бы ты русской словесности” — и опубликовал в ряде номеров “Литературной газеты” трактат “Размышления и разборы”. Однако свидетельствующий об огромной эрудиции и глубине мыслей автора, превосходно изложенный трактат содержал в основном идеи, выработанные Катениным еще в молодости и к 1830 году в значительной степени утратившие актуальность и оригинальность. Поэтому сочинение не привлекло внимания читателей. К сожалению, не вызвали интереса и изданные в 1832 году “Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина” в двух частях. А.С. Пушкин принял участие в их издании, взял на себя заботу о распространении части тиража и сформировал свою оценку творчества Катенина в специальном обзоре. Он прослеживает путь поэта: “Быв одним из первых приверженцев романтизма, первый введши в круг возвышенной поэзии язык и предметы простонародные, он первый отрекся от романтизма и обратился к классическим идеалам, когда читающей публике начала нравиться новизна литературного преобразования”. “Он даже до того простер свою гордую независимость, — отмечал Пушкин, — что оставляя одну отрасль поэзии, как скоро становилась она модною”. Это облегчалось тем, что Катенин великолепно владел техникой стиха: например, в исторической песне “Мстислав Мстиславович” он использовал 13 стихотворных размеров. Пушкин ценил Катенина за его искания, сознавая их значение для будущей русской поэзии, но на такое предвидение способны были немногие. В 1830-х годах Катенин был немоден, слишком неблагозвучен, чересчур “жесток”, и большинство литераторов и читателей солидаризировались с безапелляционным приговором К. Полевого, что его место — только в прошлом русской литературы. А Павлу Александровичу в то время исполнилось всего 40 лет.

Катенину после родителей и бездетных братьев досталось



порядочное состояние: он умер владельцем 343 душ мужского пола, но он обложил своих крестьян самым незначительным оброком и при этом оказывал им после неурожая, пожаров и т. д. щедрую помощь, поэтому почти всегда нуждался в средствах. Пришлось думать о возвращении на службу, ехать в Петербург.

“Приехал я 1832 года июля 18-го прямо на дачу... неподалеку от городской заставы. Узнав о том, многие из знакомых поспешили меня навестить, и между ними первым А.С. Свидание было самое дружеское. Тут я поздравил его с окончанием “Евгения Онегина”, — вспоминал Катенин. — Спи спокойно, — сказал я, — с “Онегиным” в изголовье; он передаст имя твое поздним векам, а конец увенчал все дело, последняя глава лучше всего.

Пушкин знал, что я редко хвалю без пути, а притворно никогда, и, конечно, был рад...

Коль скоро здоровье позволило, я посетил его; но в своем доме показался он мне как бы другим человеком; приметна была какая-то принужденность, неловкость, словно гостю не рад; после двух или трех визитов я отстал, и хотя он не один раз потом звал и слегка корил, я остался при своем; когда, напротив, он посещал меня, что часто случалось, в нем опять являлся прежний А.С., не совсем так веселый, но уже лета были не те”.

Пушкин и Катенин встречались также на заседаниях Российской Академии, куда оба были избраны в январе 1833 года и где обсуждался тогда проект Словаря русского языка. В отличие от Пушкина, Павел Александрович отнесся к дискуссии о словаре серьезно. По рассказу П.А. Плетнева, он “сделал сколько нужно было визитов А.С. Шишкову да и засел в Российскую Академию. Он там начал сильную тревогу. Первый спор зашел о слове: “бурко”. Катенин требовал, чтобы его писали “бурка”. Спускать он никому не любит... Вы можете представить, как это забавляет Пушкина”.

Так, впрочем, продолжалось только до августа 1833 года, когда Катенин

был зачислен в Эриванский карабинерский полк и временно прикомандирован к учебному образцовому полку, расквартированному в Царском Селе. В марте 1834 года Павел Александрович, отправляясь к полку на Кавказ, заехал ненадолго в Петербург: "...в гостинице, где я покуда жил, навестил меня Пушкин в последний раз, жена его была больна, и он казался грустен, однако, зная, что нам расстаться надолго, — увы! навсегда, — с лишком три часа побеседовал".

На Кавказ Катенин отбывал все таким же, каким впервые встретился и в последний раз расстался с Пушкиным — человеком, до конца отстаивающим свои принципы, неутомимым и непобедимым спорщиком и задирой. "Весною 1834 года, проездом из Петербурга в Грузию, Катенин посетил Москву, — сообщает Н.П. Барсуков. — На обеде у Хомякова с ним познакомился Погодин. "Слушал Катенина, — читаем в его Дневнике... — Спор его с Шевыревым, побежденным. Запоспчив и умеет спорить. Жаль Шевырева".

Живя на Кавказе, первоначально в Ставрополе, Павел Александрович надеялся, что Пушкин станет как бы его представителем в издательском мире Петербурга. Почти в каждом письме он дает ему литературное поручение: "Я обновил 1835-й год сонетом... посылаю к тебе с просьбою: коли ты найдешь его хорошим, напечатать в "Библиотеке для чтения", а поелику мне, бедняку, дарить богатого Смирдина грех, то продай ему как можно дороже" (4 января 1835 года), "...отправил к Каратышину толстый пакет разных стихов и прозы. Полуболюбствуй, милый Александр Сергеевич, взглянуть на все писание сие и посоветуй: что с ним делать?" (7 июля 1835 года) и т. д. Пушкин отвечал приятно нечасто, но поручения его аккуратно выполнял: при его содействии в "Библиотеке для чтения" за 1836 год были помещены две последние вообще пожизненные публикации Катенина — "Гнездо голубки" и "Ишвалид Горев". "Во время моего проживания в Ставрополе получил я от него два письма... в Кизляре узнал я о его несчастной смерти и вскоре потом познакомился там же с братом его, Львом Сергеевичем: мы довольно поговорили о покойнике, о котором есть что и сказать", — вспоминал поэт.



Со смертью Пушкина вокруг Катенина образовался литературный вакуум — ему не у кого больше было искать поддержки в заочных отношениях с издателями, редакторами и цензорами. Ничего, впрочем, не изменилось и после 20 ноября 1839 года, когда Павел Александрович, служивший с 1836 года комендантом Кизлярской крепости, получил “без прощания” отставку с производством в генерал-майоры. Он перебрался в свои костромские усадьбы Шаево и Колотилово, откуда иногда приезжал в Кострому и Москву. Катенин по-прежнему писал, но нигде не печатался, состоя в своей деревенской глуши в оппозиции не только к правительству, но и к послепушкинской литературе (“Ваш Гоголь — дрянь, гадость!” — кричал он в лицо начинающему писателю А.Ф. Писемскому). К тому же материально он не нуждался: 340 душ крестьян в богатых лесом имениях и генеральский пенсioen вполне обеспечивали одинокого холостяка. Постепенно рвались старые связи, сокращалась переписка...

Но вот в 1851 году П.В. Алленков, работая над биографией Пушкина, обратился к забытому читателями костромичу с просьбой написать воспоминания о его гениальном друге. И уже 9 апреля 1852 года, продемонстрировав в очередной раз свою феноменальную память и верность прежним убеждениям, Катенин завершил рассказ об отношениях с Пушкиным, изложенный с темпераментом бойца и содержащий цельную и последовательную литературно-эстетическую концепцию. Воспоминания ценны не только как источник для биографии Пушкина, они свидетельствуют о неиссякающих творческих силах мемуариста; тем более печально, что поэтические и критические произведения Катенина 1840-1850-х годов погибли вместе с его архивом.

Павел Александрович скончался 23 мая 1853 года в Шаеве. Исследовательский и читательский интерес к его творчеству и личности, временами затухающий, но обязательно разгорающийся вновь, показывает, насколько прав был Пушкин, отводя Катенину видное место в русском литературном процессе той эпохи.

# “Российский жук”



*А*лександр Сергеевич Пушкин был связан с П.П.Свиныным в течение почти всей своей сознательной жизни: читал его сочинения, сам писал о нем, печатался с ним в общих изданиях, пользовался собранными Павлом Петровичем историческими материалами, бывал у него дома и встречался у общих знакомых. Более того, поэт хорошо знал различные перипетии жизни Свинына и интересовался его биографией и личностью.

А жизнь Свинына действительно была интересна и познавательна. Он родился в 1788 году в сельце Ефремове Галичского уезда в семье отставного капитан-лейтенанта, небогатого помещика. Сохранилось описание усадьбы: “В оном сельце господский деревянный дом об одном этаже, с принадлежащими к нему службами, в том же сельце ветреная мушная мельница... Оное сельцо положение свое имеет на суходоле, в оном сельце копаный пруд”.

Мать Павла Петровича умерла рано, отец женился вновь, а 10-летнего сына отправил в Благородный пансион при Московском университете — одно из лучших учебных заведений России, где уже учился его старший брат Петр. Пансион давал превосходное

образование, его часто навещали известные писатели: “Здесь увидел я И.И. Дмитриева и Н.М. Карамзина и день сей был для нас величайшим торжеством!” — вспоминал Свиньин. Действовало при пансионе и свое литературное общество, в котором состояли воспитанники Жуковский, Мерзляков, братья Тургеневы, Родзянко, Грамматин и др. В сборнике общества “Утренняя заря” за 1803 год юный костромич опубликовал прозаический перевод с французского “Сократ перед смертью”. Но тогда его более занимала не литература, а живопись: у него обнаружили художественные способности, и он брал private уроки.

Окончив Благородный пансион с серебряной медалью, Свиньин был зачислен в Коллегию иностранных дел и направлен в Петербург “для исполнения письменных дел” к канцлеру А.Г.Воронцову, а после его смерти служил с марта 1806 года переводчиком при коллегии и, имея много свободного времени, посещал занятия в Академии художеств.

В августе 1806 года Свиньин, отлично владевший французским и английским языками, был откомандирован для ведения иностранной переписки к командующему русской эскадрой в Средиземное море адмиралу Д.Н.Сенявину. Вместе с ним участвовал в боевых действиях, за что был награжден орденом Владимира IV степени. “Я деятельно употребляем был по важным и тайным переговорам с англичанами и турками... находясь всегда в кругу и в сношениях с главными действующими лицами, а со многими из них был и в дружбе”, — вспоминал Павел Петрович. В экспедиции он свел много полезных знакомств, например, с графом Иоаннисом Каподистрия, будущим канцлером Российской империи.

После прекращения военных действий и прихода русской эскадры в Лиссабон Свиньин с дипломатическими депешами был отправлен через всю Европу в Петербург, куда прибыл в 1809 году. Оставленный там при Коллегии иностранных дел и “имея мало



занятий по службе, — вспоминал он, — я предался совершенно моей страсти к живописи” и 1 сентября 1811 года был удостоен звания академика живописи. Однако уже через три дня он отплывает из Кронштадта в Америку, получив назначение секретарем российского консула в Филадельфии.

Здесь Свиньин использовал свой пост для ознакомления населения США с Россией и ее культурой. Вскоре он обзавелся множеством знакомых, стал печататься в американских газетах, завязал связи с местными живописцами и художественными учреждениями, совершил путешествие по Соединенным Штатам, запечатлев увиденное в сотнях акварельных рисунков, вступил в сношения с изобретателем Р.Фултоном и был первым пропагандистом постройки пароходов в России. В 1813 году вышла в Филадельфии на английском языке книга Свиньина “Изображение Москвы и С.-Петербурга” исторического содержания, нашедшая теплый прием у американских читателей и получившая сочувственные отклики в русской прессе.

Живя в Америке, Свиньин подружился там с находящимся в изгнании известным противником Наполеона французским генералом В. Моро, который в 1813 году принял приглашение перейти на русскую службу. Отправляясь в Европу в июне 1813 года, Моро пожелал иметь при себе Павла Петровича в качестве “сотоварища” и переводчика. Прощаясь с Свиньиным, российская миссия подчеркивала плодотворность его деятельности в Америке. “Труды его были для меня необходимыми”, — писал консул Н.А. Козлов.

Вернувшись в Европу, Свиньин находился при Моро в ставке союзников по антинаполеоновской коалиции. После гибели генерала в битве под Дрезденом Александр I послал Павла Петровича в Лондон к вдове Моро. Там Свиньин в 1814 году издал на английском языке роскошное “Изображение России”, быстро разошедшееся, а на французском языке — жизнеописание Моро. В качестве дипломатического курьера Павел Петрович разъезжает



по всей Европе, встречается с Веллингтоном, Блюхером, Аракчеевым; в его бумагах хранятся личные записи от прусского короля.

Дальнейшая деятельность Свиньина отображена им в автобиографической записке. Возвратясь на исходе 1814 года из Лондона в Петербург, он “поместил в журналах наблюдения, сделанные в Америке и в Англии, по части статистической” и при этом “старался ввести в литературу нашу описательный слог”. В это время, помимо многочисленных журнальных публикаций, им изданы книги “Взгляд на республику Соединенных Американских областей” (1814) и “Опыт живописного путешествия по Северной Америке” (1815), сделавшие его имя известным в русской литературе.

Блестящая репутация Свиньина-дипломата, его литературная деятельность, наличие влиятельных связей и особенно дружба с канцлером Каподистрией обратили на него внимание правительства. В 1815 году остро встала проблема присоединенной в 1812 году Бессарабии. Она управлялась по старинным местным законам, но русскими администраторами, считавшими, что на далеких окраинах империи им все дозволено; это вызывало многочисленные жалобы, доходившие до Петербурга. Поэтому председатель Комитета Министров фельдмаршал Н.И. Салтыков, управлявший Россией в отсутствие находившегося за границей Александра I, счел необходимым послать в Бессарабию особого уполномоченного, который бы негласно разобрался с положением дел на месте и сообщил о своих выводах правительству. Выбор пал на Свиньина.

“Исполненный рвением на службу государству, — писал позднее Павел Петрович, — я был несказанно обрадован, когда фельдмаршал предложил отправиться в Бессарабию для описания той страны и исследования на месте прав, законов и нужд жителей”. В секретных донесениях “предписано мне было принимать жалобы бессарабских жителей и, исследовав их на месте, представить к нему с своим мнением. Сверх того, князь Николай Иванович приказал мне

изыскать благовидный случай для поездки в Яссы, дабы также на месте удостовериться в справедливости важных жалоб, присылаемых молдавскими боярами на нашего генерального консула Пини... По крайней мере я отправлен был с самыми лестными обещаниями со стороны правительства". Обещания эти были подкреплены досрочным производством Свинына в ноябре 1815 года в чин надворного советника.

Однако выбор кандидатуры Свинына для проведения секретной ревизии управления Бессарабской областью оказался на редкость неудачным. Проводя многие годы за границей, он плохо разбирался в российской действительности и сразу вступил в открытый конфликт с верхушкой областной администрации, в частности, с губернатором, генералом И.М. Гартингом. Павел Петрович не проявил достаточно тонкости, каковой требовал конфиденциальный характер его миссии: являясь по существу ревизором, Свинын формально не имел права вмешиваться в распоряжения местных властей. Тем не менее он разглашал среди местного населения, что уполномочен улучшить его положение, и по отношению к губернатору сразу встал в начальственную позу. Положение осложнялось тем, что Гартинг был женат на сестре А.С. Стурдзы, близкого друга и сотрудника Каподистрии, и засыпал их жалобами на действия Свинына. Тот в письме к брату от 25 февраля 1816 года жаловался: "С тех пор, как получил он какое-то письмо, Гартинг сделался так надменен, дал всю волю своему бесчинию, деспотизму и корыстолюбию, что мудрено поверить и описать. Не только меня ни в чем не слушается, но восхваляется, что выживет меня отсюда, и мстит всем тем, кто дружны со мною".

Человек еще молодой и с легким характером, Павел Петрович не всегда серьезно относился к данному ему поручению, отчего возникали подчас анекдотические ситуации: "Не могу забыть, сколь много забавляла меня здесь жалоба, поданная болгарами, которой поводом была, кажется, излишняя их ревность, — вспоминал он. —



Отлично отзываясь о местном начальстве, они жаловались только на солдат Камчатского пехотного полка, стоящего у них на квартирах, кои заставляяют жен их часто мыть себе ноги, приговаривая, что эти-де ноги не простые, а были в Сибири и в Париже”.

В целом деятельность Свиныина в Бессарабии была плодотворна. Он собрал много ценных сведений по истории, этнографии и экономике края и впоследствии изложил их в ряде содержательных очерков, оказал заметное влияние на развитие местной культурной и литературной жизни, сыграл определенную роль в последующих преобразованиях управления Молдавией, доведя до сведения правительства множество фактов, обличающих тогдашние бессарабские власти. Он с симпатией относился к молдавскому народу и искренне желал ему блага, поэтому в Молдавии надолго сохранялась благодарная память о нем.

Однако недруги Павла Петровича ловко воспользовались его человеческими слабостями — легкомыслием, самомнением, хвастливостью и т. д., выставляя их в своих доносах на “ревизора” в Петербург в преувеличенном, а зачастую и в превратном виде. Чашу терпения правительства переполнили неосмотрительные действия Свиныина в Яссах, куда он был послан для рассмотрения жалоб на русского консула Пини. При въезде в город ему была устроена торжественная встреча и, вероятно, поднесены богатые дары. Сам Свиныин описывает, что на приеме у господаря “в первый день соблюдена была со мною вся азиатская пышность угощения, т. е. богато одетые арнауцы подали дульцисы... потом в золотых чашечках принесли кофе”.

Следствием явилось поспешное отозвание Павла Петровича в Петербург в конце апреля 1816 года. Он увозил с собою любопытный документ:

“Свидетельство.

Через сие не от лести, но от истинного побуждения заслуг и блага, оказанных краю сему г. надворным советником и кавалером Павлом

Петровичем Свиныным выданное свидетельство мы священной обязанностью поставляем себе единогласно возвещать от лица всего бессарабского народа сердечную благодарность за сего достойного чиновника. Он со времени приезда сюда с высочайшим поручением был утешителем в нашем злополучии, отрадою, советом в горестях, защитою невинных и бедных, а поведением своим, правилами и всегдашнею готовностью к добродетели утвердил и более верную приверженность новых и преданнейших подданных его императорского величества к российскому престолу; неуспышным же рвением своим и благоразумными мерами, принятыми им к выполнению возложенного на него поручения, показал нам, как должен действовать верный избранный слуга милосердного государя”.

Следовали подписи митрополита, нескольких генералов и ряда молдавских бояр.

Тем не менее в Петербург Свиныин вернулся с подмоченной репутацией. На его несчастье, в это время скончался председатель Комитета министров Н.И. Салтыков, командировавший его в Бессарабию и покровительствовавший ему. Действия Павла Петровича были “строго рассмотрены” министром полиции, который, впрочем, не нашел в них серьезных нарушений данных инструкций. Однако правительство сочло нужным дезавуировать деятельность Свиныина, объявив неофициально бессарабским властям, что он не располагал полномочиями ревизора и не имел права принимать жалобы. Это, конечно, придавало поведению Павла Петровича в Бессарабии двусмысленный оттенок — многие стали считать его самозванцем и авантюристом.

С таким мнением о Свиныине столкнулся и А.С. Пушкин, поселившийся в Кишиневе в сентябре 1820 года. Он достаточно хорошо знал Павла Петровича еще по Петербургу: они вместе служили в Коллегии иностранных дел. Еще лучше Свиныин был



знаком ему как популярный литератор. После возвращения из Бессарабии костромич, помимо постоянного сотрудничества в журналах, издает ряд книг. В 1816 году выходит первая часть (всего их шесть) его “Достопамятностей Петербурга и его окрестностей”, в следующем — “Ежедневные записки в Лондоне”, в 1818 — “Записки о жизни князя Н.И. Салтыкова”, в 1819 — “Жизнь русского механика Кулибина и его изобретения” и др. Однако некоторые публикации вызвали литературные скандалы, сделавшие само имя Свиныина одиозным.

Так, в 1818 году в журнале “Сын Отечества” была напечатана статья Свиныина “Поездка в Грузино” с стихотворным эпиграфом:

*Я весь объехал белый свет:  
Зрел Лондон, Лиссабон, Рим, Трою.  
Дивился многому умом.  
Но только в Грузине одном  
Был счастлив сердцем и душою  
И сожалел, что не поэт.*

Между тем Грузино был резиденцией всеильного временщика графа А.А. Аракчеева, который завел там порядки, основанные на строжайшей регламентации и поддерживаемые системой жестоких наказаний. Даже реакционер Ф. Вигель в своих мемуарах, именуя Грузино “каторгой”, отмечал: “Везде видны там чистота, порядок и устройство, зато везде одни труды, молчание и трепет”.

Свиныина, как видно из очерка, именно и восхищали в Грузине “чистота и порядок” — в жизнь несчастных крестьян он не вдавался, но, как бы то ни было, дифирамбы ненавистному всей России Аракчееву возмутили некоторых русских писателей. Служивший тогда в Варшаве П.А. Вяземский 13 октября 1818 года писал А.И. Тургеневу в Петербург: “Мне так понравились следующие стихи Свиныина, напечатанные в “Сыне Отечества”, что я решился их перевести... Мой перевод:

*Что пользы, — говорит расчетливый Свинын, -  
Мне кланяться развалинам бесплодным  
Пальмиры, Трои иль Афин?  
Пусть дорожит Парнаса гражданин  
Воспоминаньем благородным:  
Я не поэт, а дворянин.  
И лучше в Грузино пойду путем доходным:  
Там, кланяясь, могу я выкланяться в чин.*

Ведь это, ей-Богу, стыдное дело, что мне из-за границы отпралять вашу полицию. У вас под носом режут и грабят, Свинын полоскается в грязи и пишет стихи, и еще какие, а вы ни слова, как будто не ваше дело. Да чего смотрит Сверчок, полуночный бутюшник (А.С. Пушкин. — В.Б.)? При каждом таком бесчинстве должен он крикнуть эпитаграмму”.

“Благодарю за перевод Свинына, — отвечал Тургенев. — Я изъявил нашим то же негодование, которым кипело твое сердце от постыдного молчания”.

В числе “наших” (т. е. членов литературного общества “Арзамас”) был и А.С. Пушкин. Он запомнил эпитаграмму и в 1825 году писал Вяземскому, что “самовластно сделал в ней перемены”:

*Что пользы, — говорит расчетливый Свинын,  
Нам кланяться развалинам бесплодным  
Пальмиры древней иль Афин?  
Нет, лучше в Грузино пойду путем доходным:  
Там, кланяясь, могу я выкланяться в чин.  
Оставим славы дым поэтам сумасбродным:  
Я не поэт, а дворянин.*

Субъективно по отношению к Свиныну эпитаграмма была не вполне справедлива: посвятив свою жизнь литературе, он как раз не гнался за богатством и чинами, да и по убеждениям не являлся консерватором. М.П. Погодин записал в дневнике, что Павел Петрович “однажды



на вопрос великого князя Михаила Павловича: “Вы либерал?” — дерзнул ответить: “Нет, Ваше высочество, а при Иване Васильевиче (Иване Грозном. — **В.Б.**) жить не желал бы”. В 1830 году, публикуя список авторов журнала “Отечественные записки” за прошедшее с момента выпуска первого номера десятилетие, Свињин включил в него имена декабристов К.Ф. Рылеева и А.О. Корниловича, так что публикация “Гимна Грузину” была скорее следствием не расчета, а легкомыслия и авторской неразборчивости.

И почти сразу Свињин стал виновником другого литературного скандала. В 1818 году вышли в свет “Воспоминания на флоте” Свињина (Ч. 1-2), а вслед за ними в “Сыне Отечества” появилось “Уведомление” писателя В.Б. Броневского, что это — плагиат его “Записок морского офицера”, рукопись которых он дал для ознакомления Свињину в марте 1818 года. В “Ответе”, опубликованном в том же “Сыне Отечества”, Павел Петрович оправдывался тем, что оба автора описывают одни и те же события, а потому и дословные совпадения текстов неудивительны, и что в марте 1818 года он уже сдал рукопись своей книги в цензуру. Тогда Броневский печатно возразил, что в цензуру Свињин вначале сдал “Воспоминания” в одной книжке: “Все то, что было в цензуре, что собственно, может быть, принадлежит г. Свињину, не представляет, хотя и одни предметы мы описываем, никакого сходства, а в упоминавшихся статьях (отмечает 14 глав, списанных у него. — **В.Б.**) мы встречаемся почти на каждом слове”. Улики против Свињина были неопровержимы. “Каков Свињин! Зри “Сын Отечества”, — писал 2 декабря 1818 года А.И. Тургенев П.А. Вяземскому.

Пушкин, знакомый с Броневским, тоже был в курсе этой полемики. Это не прибавило ему уважения к Свињину, уже ставшему тогда мишенью литературных насмешек. Принадлежа к группе “Беседы любителей русской словесности”, Свињин, при всем добродушии и



терпимости, принимал участие в полемике с литературными оппонентами, и Д.Н. Свербеев свидетельствовал в мемуарах, что “ненавидели этого Свинына в свою очередь все литераторы других кружков”. Но Павлу Петровичу подчас доставалось и от членов самой “Беседы”. В 1818 году вышла отдельным изданием, а 23 сентября 1818 года была поставлена на петербургской сцене комедия А.А.Шаховского “Не люблю — не слушай, а лгать не мешай”, главный герой которой, лгун и хвостун Зарницкин, наделен чертами характера и фактами биографии Свинына. Пушкин знал эту комедию и заимствовал из нее для своего будущего романа в стихах фамилию одного из персонажей — Онегина.

Таким образом, Александр Сергеевич соответственно был подготовлен к тому, чтобы с доверием отнестись к тем рассказам и анекдотам, которыми обросло пребывание Свинына в Бессарабии за четыре года после его отъезда. Надо отметить, что главные его информаторы, Липранди и Вельтман, сами деятельность Павла Петровича уже не наблюдали, приехав в Кишинев позднее, а пользовались распущенными властями слухами. Большинство же молдаван считали Свинына выдающимся государственным деятелем и крупнейшим русским писателем, что Пушкина только смешило. “В приезд свой в Бессарабию П.П. Свинын... — вспоминал И.П. Липранди, — по случаю назначения ему квартиры у Стамати сблизился с старшим братом (отец и мать были уже умершими) и выхлопотал у А.Н. Бахметева разрешение сопутствовать ему (Свиныну) в путешествии по Бессарабии, плодом которого, между прочим, было определение ссылки Овидия в Аккерман. Говорили, что будто бы Свинын уверил Стамати, что он литератор, и поощрил его на этот путь. В маленьком садике, сзади дома Стамати, поставлена в память Павла Петровича колонка, на которой красовался гипсовый бюст Анакреона и надпись: “В память П.П. Свиныну”.

Однажды, когда мы проходили мимо дома Стамати, этот сидел



на крыльце; поклонившись, мы обменялись несколькими словами, не останавливаясь; но спутник мой пожелал, чтобы я завел его посмотреть Анакреона, поставленного в честь Свиныну... Чтобы скорей окончить посещение, я попросил Стамати показать Пушкину свой садик сobeliskом, что тотчас и было исполнено. Хозяин был в восхищении от посещения его Пушкиным”.

В 1821 году в журнале “Отечественные записки” появилась статья П.П. Свинына “Воспоминания в степях Бессарабских”, по поводу которой Липранди пишет: “Пушкин одинаково, как и мы все, смеялся над П.П. Свиныным, вообразившим Аккерман местом ссылки Овидия и, вопреки географической истории, выведившим, что даже название одного из близлежащего от Аккермана озера сохранило название Овидиева озера (примечание: на юго-западе от Аккермана есть несколько небольших озер, из коих в одном пресная вода. Озеро это было названо чабанами (пастухами) “Лакул-Овиолуй”, то есть Овечье озеро, или озеро Овец, потому что оно было единственное, к которому подгоняли они стадо для водопоя. Овцы по-молдавански — овио. Очень хорошо помню, что, когда Пушкин услышал это объяснение, он расхохотался и заметил, что Свиныну следовало тут как-нибудь припутать и Лукулла и т. д.), и на этом основании давал волю своему воображению до самых безрассудных границ... Словом, я очень хорошо помню, Раевский и Пушкин при чтении записок Свинына были неистощимы на остроу”.

Следует, однако, уточнить, что фантазия Свинына тут ни при чем. Легенда о ссылке Овидия в Аккерман широко бытовала в тогдашней исторической литературе, и Павел Петрович просто заимствовал ее из известной книги Ж.П. Карре “История Молдавии и Валахии” (СПб, 1791). “Воспоминания в степях Бессарабских” оказались очень полезны для великого поэта. “Несмотря на насмешки над Свиныным, — отмечает молдавский пушкиновед Е.М. Двойренко-Маркова, — Пушкин отнесся к этому очерку с гораздо

большим вниманием, чем об этом можно судить по словам Липранди”, и даже использовал сведения из него в поэме “Цыганы”. Та же переключка с мотивами и настроениями очерка явственно сквозит в стихах “бессарабского цикла”. “Речка Кагул... — пишет Свињин, — наполнена пушками и ядрами; я сам поднял несколько из сих последних и буду хранить их навсегда”. “Чугун кагульский, ты священ, — откликается Пушкин в послании к Е.А. Баратынскому, — для русского, для друга славы”. А в стихах “Дочери Карагеоргия” и “Песня о Георгии Черном” поэт воспользовался фактическим материалом, приведенном в свињинском очерке “Сведения из Хотина о Георгии Петровиче Черном”.

Личное их знакомство возобновилось в конце 1826 — в 1827 году. К этому времени Павел Петрович стал очень популярной личностью. С 1820 года он издает журнал “Отечественные записки”, бывший первым историко-археологическим периодическим изданием в России. В нем Свињин печатал описания своих ежегодных путешествий по России и статьи о русских самородках из простого звания — талантливых изобретателях, художниках и т. д. Журнал имел много подписчиков и, по словам издателя, читался “и в Кяхте, и в Коле, в Бухаресте и Соловецком монастыре, в Феодосии и в Гельсингфорсе”.

Широкую известность принес Свињину созданный им в 1820 году первый в России “Русский музей”, состоящий из произведений искусства, исторических реликвий и др. Комплектование его было тесно связано с литературной деятельностью собирателя. “Я удивляюсь холодности или странности людей, оставлявших без внимания достопамятности, находящиеся, так сказать, перед глазами их, тогда как я пускаюсь ежегодно за несколько тысяч верст, для удовлетворения моего любопытства, для обозрения или изучения малейшей отечественной древности”.

Патриотическая деятельность Свињина имела важное значение, но только потомки оценили ее по достоинству. “Большое видится



на расстоянии” — современники обращали внимание преимущественно на промашки Павла Петровича, его неразборчивость в выборе средств при пополнении музея уникальными экспонатами, неумеренное подчас восхваление “самородков”, пользование чужими трудами, хвастливость и т.д. Он продолжал быть излюбленной мишенью для литературных эпиграмм, все более личных и оскорбительных. Из них наибольшую известность приобрела басня А.Е. Измайлова “Лгун”, помещенная в “Полярной звезде” за 1824 год:

*Павлушка — медный лоб (приличное названье!)*

*Имел ко лжи большое дарованье.*

*Мне кажется, еще он в колыбели лгал,*

*Когда же с барином в Париже побывал*

*И через Лондон с ним в Россию возвратился,*

*Вот тут-то лгать пустился!*

Несмотря на это, в середине 1820-х годов положение Павла Петровича в литературе упрочилось. Он становится популярен как писатель-путешественник, ежегодно на два месяца выезжавший в глубь России и живо излагавший на страницах “Отечественных записок” свои впечатления, наблюдения и открытия. Свиньин объездил центральную Россию, Поволжье, берега Каспийского моря, Кавказ, Крым, Урал, Приуралье, Западную Сибирь, русский Север, Прибалтику. Чтоб развязать себе руки и всецело отдаться литературно-издательской деятельности, он подает прошение и в мае 1824 года увольняется “за слабостью здоровья” в отставку с чином статского советника. При этом Коллегия иностранных дел выдала аттестат, что Свиньин, “находясь в ведомстве ее, вел себя весьма похвально и поручаемое исполнял с отличным усердием”.

Издавая журнал, Павел Петрович жил в Петербурге открыто и широко. Его гостеприимную квартиру на третьем этаже в доме Жербина, на углу Михайловской площади и Инженерной улицы

(ныне Площадь искусств, 2) хорошо знали литераторы всех направлений. Так, в письме от 22 января 1826 года Н.А. Полевой поздравлял Свинына, вернувшегося из очередного путешествия, с “положением страннического посоха у подножия домашнего пената, с возвращением в ваш прелестный незабвенный для меня кабинет”. Тогда особенно славились “свинынские обеды”, на которые сходились аристократы и художники, высокопоставленные чиновники, артисты, весь цвет (но и все плевелы!) русской литературы. “Как обрадовался я, — вспоминал Ксенофонт Полевой, — когда Павел Петрович Свинын, приглашая меня к себе на обед, сказал, что у него будет Грибоедов, только что (в 1828 году. — В.Б.) приехавший из Грузии. — Буду, буду непременно! В назначенный день (помню, что было на Пасхе) я нашел у гостеприимного Павла Петровича много людей замечательных. Кроме нескольких знатных особ, приятелей его, тут был, можно сказать, цвет нашей литературы: И.А. Крылов, Пушкин, Грибоедов, Н.И. Греч и др.”

Имеются свидетельства и самого Свинына. “У меня вчера было примирение петербургских журналистов с московскими, но вряд ли чистосердечное, — сообщает он летом 1827 года в письме к А.И. Михайловскому-Данилевскому. — Обедали Пушкин, Полевой, Греч, Булгарин, Крылов и проч. здешние и наезжие литераторы. Много шумели и читали острого и забавного”.

Пушкин возобновил свое знакомство с издателем “Отечественных записок” вскоре после возвращения из ссылки в Петербург, хотя в журнале, где не было отдела поэзии, никогда не печатался. Сам Свинын благоговел перед гением великого поэта и чрезвычайно ценил его посещения. 12 июня 1827 года он, например, писал тому же Михайловскому-Данилевскому: “Третьего дня обедал у меня Пушкин и читал две новые главы из “Онегина”. Прелесть, особенно четвертая глава, где описывает портреты соседей. Какая наблюдательность, сколько остроты, сколько знания человеческого



сердца”. По-видимому, поэта привлекали в Павле Петровиче его горячая любовь к Родине, интерес к ее истории, страсть к собирательству, гостеприимство и отзывчивость.

Вместе с тем некоторые черты характера Свинына — его живость, неразборчивость в выборе знакомств, непрошенное меценатство — смешили и даже раздражали Пушкина. К.А. Полевой вспоминал: “Однажды я был у него вместе с Павлом Петровичем Свиныным. Пушкин, как я увидел из разговора, сердился на Свинына за то, что очень неловко и некстати тот вздумал где-то на бале рекомендовать его славной тогда своей красотой и любезностью девице Л. Нельзя было оскорбить Пушкина более, чем рекомендуя его знаменитым поэтом; а Свинын сделал эту глупость. За то поэт и отплатил ему, как я был свидетелем, очень зло. Кроме того, он очень горячо выговаривал ему и просил вперед не принимать труда знакомить его с кем бы то ни было. Пушкин, поуспокоившись, навел разговор на приключения Свинына в Бессарабии, где тот был с важным поручением от правительства, но поступал так, что его удалили от всяких занятий по службе. Пушкин стал расспрашивать его об этом очень ловко и смело, так что несчастный Свинын вертелся, как береста на огне.

— С чего же взяли, — спрашивал он у него, — что будто вы въезжали в Яссы с торжественною процессиею, верхом, с многочисленною свитой и внушали такое почтение соломенным молдавским и валахским боярам, что они поднесли вам сто тысяч серебряных рублей?

— Сказки, мивый Александр Сергеевич, сказки! Ну, стоит ли повторять такой вздор! — восклицал Свинын, который прилагал слово “мивый” (милый) в приятельском разговоре со всяким из знакомых.

— Ну, а ведь вам подарили шубы? — спрашивал опять Пушкин и такими вопросами преследовал Свинына довольно долго,

представляя себя любопытствующим, тогда как знал, что речь о бессарабских приключениях для Свинына — нож острый!”

Не мог не привлекать внимание Пушкина, всегда интересовавшегося древностями, и принадлежащий Свиныну “Русский музей”, тогда единственный в Петербурге. К концу 1820-х годов в его составе находились 82 картины и 54 скульптуры лучших мастеров, миниатюры, исторические медали, старинное русское серебро, “минералогический кабинет”, вещи, принадлежащие выдающимся русским людям (например, токарный станок Петра I), рукописи, документы, автографы. Музей был общедоступен и имел печатный каталог на русском и французском языках.

Недрузи Павла Петровича распускали слухи, что он наполнял свой музей подделками. Правда, за истекшие полтора столетия не обнаружено ни одной свинынской фальсификации, но подтвердились предположения современников, что владелец пополнял свое собрание самыми предосудительными способами. Кроме того, Свинын нередко чрезмерно афишировал свои приобретения, тем самым усиливая сомнения современников в их подлинности вообще. Подобного мнения придерживался и Пушкин, что подтверждает и написанная им в 1830 году сказка “Маленький лжец”, в которой проскальзывает и насмешка над публикуемыми в “Отечественных записках” наивными квазипатриотическими статьями о “самородках” из простого звания:

“Павлуша был опрятный, добрый, прилежный мальчик, но имел большой порок. Он не мог сказать трех слов, чтобы не солгать. Папенька его в его именины подарил ему деревянную лошадку. Павлуша уверял, что эта лошадка принадлежала Карлу XII и была та самая, на которой он ускакал из Полтавского сражения. Павлуша уверял, что в доме его родителей находятся поваренок-астроном, фореитор-историк и что птичник Прошка сочиняет стихи лучше Ломоносова. Сначала все товарищи ему верили, но скоро догадались, и никто не хотел ему верить даже тогда, когда случалось ему сказать и правду”.

Великий поэт включил Свиньина в свою эпиграмму “Собрание насекомых”:

*Мое собранье насекомых  
Открыто для моих знакомых:  
Ну что за пестрая семья;  
За ними где не рылся я?  
Зато какая сортировка!  
Вот Глинка — божия коровка,  
Вот Каченовский — злой паук,  
Вот и Свиньин — российский жук,  
Вот Олин — черная мурашка,  
Вот Раич — мелкая букашка...*

Обращает на себя то, что Пушкин пишет о Свиньине с мягкой иронией, очевидно, что среди “насекомых” он самый крупный (“жук”) и назвал не “навозным”, а уважительно — “российским”. Это особенно заметно на фоне злых, по существу заушательских эпиграмм на Павла Петровича А. Измайлова, Воейкова, Сомова.

В конце 1820-х годов Пушкин и Свиньин часто встречаются не только на обедах, балах и званых вечерах, но и на страницах различных изданий: “Памятника отечественных муз” (1828), “Невского альманаха на 1828 год”, “Радуги литературного и музыкального альманаха на 1830 год”. Правда, с конца 1830 года их встречи стали более редкими, так как Свиньин, задумав издать многотомные “Картины России...” с множеством собственных рисунков и написать “Историю Петра Великого” и не имея для этого в Петербурге времени, решил приостановить издание “Отечественных записок” и переселился в принадлежащее ему село Богородское Галичского уезда. Но он регулярно навещает Петербург и видится там с Пушкиным. В марте 1831 года оба они участвуют в устроенном Пашковыми катании на санях, в июне 1833 года встречаются на заседании Российской Академии (и тот,

и другой были ее членами). Работая над “Капитанской дочкой”, Пушкин в 1833 году пользовался рукописями мемуаров XVIII века из “Музеума” Свинына. “Милостивый государь, Александр Сергеевич, — писал их владелец в начале 1834 года. — Надеюсь, вы простите моей докучливости в уважении малого времени, которое остается мне жить в Петербурге, а в это малое время мне хотелось бы кончить с изданием Храповицкого записок! Сделайте одолжение, пришлите мне с подателем сей манускрипт, я усердно займусь примечаниями, тем более, если вы потрудитесь отметить те места, которые требуют оных, по вашему мнению. Для дальнейших объяснений приеду к вам завтра в 1-м, если вы будете дома, или не пожалуете ли вы ко мне сегодня? ... часу буду ожидать вас”.

Свинын писал неправду: записки Храповицкого он спешил получить не для издания, а для продажи в Академию наук. С прекращением “Отечественных записок” его денежные дела пришли в расстройство, растущая семья требовала все больших средств, и Павел Петрович был вынужден распродать “Музеум”, к тому же фактически остающийся после его отъезда из Петербурга бесхозным. Пушкин знал это. Не потому ли он столь недоброжелательно отзывался о Свиныне и “Музеуме” в своем дневнике 1834 года? 17 марта, записав об отказе сотрудничать в издании Энциклопедического словаря Плюшара, поэт добавляет: “Охота лезть в омут, где полощутся Булгарин, Полевой и Свинын”. Выпад несправедливый: в “Записках о моей жизни” Н.И. Греч рассказывает, что у него собрались 15 литераторов и ученых для обсуждения издания словаря. “Многие спрашивали: кто будет главным редактором? На это отвечали: извольте выбрать. Трое (Пушкин, Зайцевский и Свинын) объявили, что не станут участвовать в делах собрания, не зная, кто главный редактор, и удалились. Они опасались и не хотели Сенковского”. Таким образом, Свинын был единственным писателем (Е.П. Зайцевский занимал в литературе слишком незначительное место), поддержавшим Пушкина.



В бумагах Пушкина сохранился листок, в котором еще раз упоминается о Свиныне. Пушкиноведа, основываясь на водяном знаке, датируют запись 1833-1834 годами. Вот ее текст: “Свинын (зачеркнуто) Криспин приезжает на ярмонку (приписано сверху) в Н. В губернию — его принимают за (слово неразборчиво). Губернатор/ честный дурак, губ/ернаторша/ с ним проказит — Криспин/ сватается за дочь”.

По нашему мнению, этот черновой набросок Пушкина датируется октябрём 1835 года. 7 октября этого года Н.В. Гоголь обратился с письмом к проживавшему тогда в Михайловском Пушкину: “Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию”. Записка о Свиныне и является черновиком ответа Александра Сергеевича, но в самом письме он, более чем вероятно, восстановил фамилию Свинына: ведь Криспин — плутоватый герой одноименной комедии Лесажа, а Гоголь просил “русский чисто анекдот”. Получив сюжет и оставшись им доволен, Гоголь уже в декабре 1835 года завершил создание первой редакции комедии, и в апреле 1836 года “Ревизор” был поставлен в Петербурге.

То, что дело обстояло именно так, подтверждается рядом свидетельств. “Мысль “Ревизора” принадлежит Пушкину”, — признал Гоголь в “Авторской исповеди”. По словам А.О. Смирновой, Гоголю “этот анекдот, взятый из действительности”, дал именно великий поэт. Впрочем, на это указывал и сам Пушкин: “Ревизор” тоже моя идея, — рассказывал он В.П. Любичу-Романовичу. — Это как раз относилось к 20-м годам, когда я был в Новороссии... Тип Хлестакова у меня намечен в живом лице”. Известно, что Пушкин назвал Гоголю и фамилию данного “живого лица”. Историк О.М. Бодянский, бывший 31 сентября 1831 года на вечере у С.Т. Аксакова, записал в дневнике: “Перед началом Гоголь, пришедший в 8 часов вечера, при разговоре, между прочим,



заметил, что первую идею к “Ревизору” ему подал Пушкин, рассказав о Павле Петровиче Свильгине, как он в Бессарабии выдавал себя за какого-то петербургского важного чиновника и, только зашедши уж далеко (стал брать прощения у колодников), был остановлен”.

По-видимому, Пушкин рассказал Гоголю известную ему версию командировки Свильгина в Бессарабию еще в начале их знакомства, а в письме от октября 1835 года лишь напомнил о своем рассказе. Этого было достаточно — Гоголь сам великолепно знал Павла Петровича: приехав в декабре 1828 года в Петербург, он первые два года из всех столичных литераторов более всего общался со Свильгиным, сотрудничал в его “Отечественных записках”, надеялся, что их издатель составит ему протекцию при поступлении на службу. Гоголь хорошо изучил особенности характера своего бывшего покровителя, но в облике Хлестакова вывел его не вполне таким, как этого желал Пушкин: “Это своего рода Митрофанушка, — объяснил тот Любигу-Романовичу, — только более отесан и менее отрочен, чего, однако, Гоголь не дал своему Хлестакову, вложив в его речь дозу нахальства и уверенной глупости”.

Пушкин, несомненно, “берет” Свильгина для себя. “Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль “Ревизора” и “Мертвых душ”, — писал Аппенков, — но менее известно, что Пушкин не вполне охотно уступил ему свое достояние. Однако ж в кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: “С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя”.

В 1830-х годах, живя преимущественно в деревне, Свильгин усердно работал над “Историей Петра Великого”. Образцом для него служили исторические труды Пушкина, и в 1835 году он писал военному историку А.И. Михайловскому-Данилевскому: “...есть надежда, что История Петра Великого будет отчетливее и обдуманнее Истории Пугачевского Бунта”. В 1837 году автор даже объявил предварительную подписку на свое сочинение, но желающих приобрести его оказалось, увы, слишком мало (возможно, читателей отпугнули выпущенные в начале 1830-х годов и не



имевшие успеха исторические романы Свильгина “Шемьякин суд” и “Ермак”) — “История царствования Петра Великого” так и осталась в рукописи.

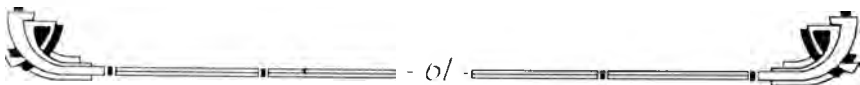
Последний раз Пушкин и Свильгин встретились в Петербурге 21 января 1837 года. В этот день соученик Павла Петровича по пансиону А.И. Тургенев записал в дневник: “Обедал у Лубяновского с Пушкиным, Стогом, Свильгиным, Багреевым и пр. Анекдоты о Платоне, Репшине, Безбородко, Туголмине и Державине”.

Павел Петрович ненадолго пережил великого поэта. Он скончался в апреле 1839 года от апоплексического удара. Вскоре после его смерти была издана первая часть его книги “Картины России и быт разноплеменных ее народов”, богато иллюстрированная рисунками самого автора. На сей раз критика встретила выход книги единодушными похвалами. Главное ее достоинство, отмечал, например, рецензент возобновленных А.А. Краевским “Отечественных записок”, — это “теплота чувства, с которым он рассказывает, это любовь ко всему русскому, отечественному... У вас не достанет духа противоречить ему, потому что замечаете в нем неподдельный патриотический жар, привязанность, отзывчивую или безотчетную, все равно, ко всему своему родному”.

Алексей Феофилактович Писемский был женат на старшей дочери Павла Петровича Екатерине и располагал о своем тесте материалами, которые до нас, к сожалению, не дошли. В его романе “Масоны” есть такая сцена: “Стали толковать о каких-то братьях Чернецовых, которые, по словам Федора Ивановича, были чисто русские живописцы... В доказательство своего мнения Федор Иванович приводил, что Чернецовы — выводки и племянники Павла Петровича Свильгина, “этого русского, по выражению Пушкина, жука”.

— Но вы заметьте, — оспаривал его Сергей Степанович, — Пушкин же совершенно справедливо говорил об Свильгине, что тот любит Россию и говорит о ней совершенно как ребенок...”

Одна эта сцена, если в нее вдуматься, многое прояснит в отношениях Пушкина и Свильгина.



# “Сват наши Толстой”



Федор Иванович Толстой был одним из самых оригинальнейших знакомых Пушкина. Они и горячо ссорились, и готовню мирились, обменивались и колкими эниграммами, и теплыми письмами, вместе пировали и заседали на литературных вечерах, имели кучу общих друзей. Отношения их были сложными и неровными, а пушкинисты не всегда улавливают завуалированность и тонкость мотивов, побуждавших поэта то клеймить Толстого как злого недруга, то обращаться с ним как с добрым приятелем.

В 1770-х годах граф Иван Андреевич Толстой, женившись на Анне Федоровне Майковой, вышел с чином бригадира в отставку и поселился в костромском имении жены, селе Никольском, где вскоре был выбран кологривским уездным предводителем дворянства. Здесь, в Никольском, 6 февраля 1782 года у Толстых родился первенец Федор: “В деревне в глуши Костромской губернии он запылся хорошим здоровьем и там же, в атмосфере крепостного права, его буйный нрав развертывался вовсю”, — писал в книге о своем костромском родственнике С.Л. Толстой.

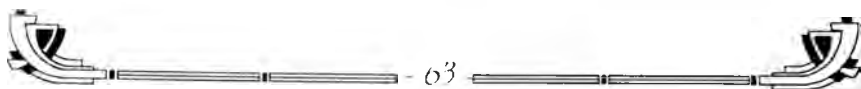
Окончив в 1798 году Морской кадетский корпус в Петербурге и зачислившись прапорщиком в Преображенский полк, Толстой успел



за короткое время стреляться на дуэли со старшим офицером, оказаться в ссылке в Вязьмитинском гарнизонном полку и вновь добиться возвращения в гвардию, подняться в воздух на воздушном шаре и т. д. Нанюганные его буйными “шалостями” родственники поспешили включить Федора Ивановича в состав посольства Рязанова, отправлявшегося в 1803 году в Японию на корабле “Надежда”. Но за время многомесячного плаванья костромич своими дерзкими вылазками, едва не вызвавшими бунт на корабле, вынудил командира “Надежды” Крузенштерна высадить его на один из тихоокеанских островов. Оттуда, побывав еще на Алеутском архипелаге и в Северной Америке и с ног до головы татуированный, Толстой в 1805 году пешком через Сибирь вернулся в Россию. В земле вотяков его встретил Ф. Вигель, отметивший в “Записках”: “Он пробыл с нами недолго, говорил самое обыкновенное, но самую простую речь вел так умно, что мне внутренне было жаль прощаться с ним”.

В августе 1805 года Федор Иванович добрался до Петербурга, но уже на заставе был задержан и отправлен в крепость Нейшлот (в Финляндии). Здесь, в гарнизоне, Толстой прозябал до начала в 1808 году русско-шведской войны. Выпросившись на театр военных действий, он совершил ряд блестящих подвигов и оказал России историческую услугу, предложив план перехода русских войск под Стокгольм и сам проделав предварительно по льду этот путь. После появления в окрестностях столицы русской армии Швеция спешно запросила мира. Толстой за это вновь был возвращен в Преображенский полк, но на пути в Петербург успел поссориться с двумя офицерами и убил их на дуэли. Особый резонанс вызвала смерть юного А.И. Нарышкина, аристократа и богача. Причина ссоры была ничтожная, но Нарышкин отказался от примирения, объяснив, что любого другого обидчика он бы простил, но отказ от дуэли с Толстым, знаменитым бретером, все сочли бы за трусость.

Толстой был посажен в Выборгскую крепость, ему грозило

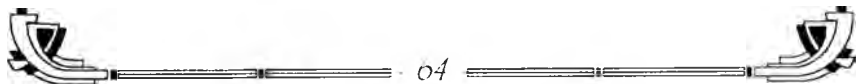


разжалование в солдаты, но, памятуя о его подвигах, власти обошлись с ним мягко: в октябре 1811 года дуэлянта уволили из Преображенского полка в отставку. Он поселяется в деревне, а после вторжения Наполеона в Россию поступает ратником в Московское ополчение. В военных действиях 1812 года Федор Иванович вел себя геройски: “В Бородинском сражении принимал участие и граф Федор Иванович Толстой, — свидетельствует Денис Давыдов, — замечательный по своему необыкновенному уму... Находясь в этот день в числе стрелков при 26 дивизии, он был сильно ранен в ногу. Ермолов, проезжая после сражения мимо раненых, коих везли в большом числе на подводах, услышал знакомый голос и свое имя. Обернувшись, он в груди раненых с трудом мог узнать графа Толстого, который, желая убедить его в полученной им ране, сорвал бинт с ноги, откуда струями потекла кровь. Ермолов исходатайствовал ему звание полковника”.

Выздоровев, Толстой поселился в Москве, в Старокопешенном переулке и вместе с Д.В. Давыдовым и П.А. Вяземским стал основателем шуточного “Ордена пробки”. На встречах “пробочники” пели свой гимн, где поминали и Толстого:

*А вот и наш Американец!  
В день славный под Бородиным  
Ты храбро нес солдатский ранец  
И щеголял штыком своим.  
На память дня того Георгий  
Украсил боевую грудь.  
Средь наших мирных братских оргий  
Вторым ты по Денисе будь!*

Основным занятием Американца стала карточная игра: он “метал банк” целыми сутками, выигрывая и проигрывая огромные суммы. О его подвигах за карточным столом ходили легенды. Позднее двоюродный племянник Федора Ивановича Лев Толстой



рассказывал о нем сыну: “Граф, вы передергиваете, — сказал ему кто-то, играя с ним в карты, я с вами больше не играю. — Да, я передергиваю, — сказал Федор Иванович, — но не люблю, когда мне это говорят. Продолжайте играть, а то я разможжу вам голову этим шандалом. — И его партнер продолжал играть и... проигрывать”.

Но так Толстой обходился далеко не со всеми. Декабрист С.Г. Волконский вспоминал, что однажды предложил Американцу сесть за карты: “Нет, мой милый, — ответил тот, — я вас слишком люблю для этого. Если мы будем играть, я увлекусь привычкой исправлять ошибки фортуны”.

Впрочем, основная причина удачной игры Толстого не в этом (ведь “передергивали” и партнеры) — ее угадал Фаддей Булгарин: “Он играл преимущественно в те игры, в которых характер игрока дает преимущество над противником и побеждает самое счастье... Поиграв несколько времени с человеком, он разгадывал его характер и игру, по лицу узнавал, к каким мастям или картам прикупает, а сам был тут для всех загадкою, владея физиономией по произволу”.

Часто картеж, сопровождаемый обильными возлияниями, кончался ссорами и дуэлями. Толстой вскоре стяжал славу первого русского брэттера: по свидетельству дочери, он только убил в поединках 11 человек. “Он был опасный соперник, потому что стрелял превосходно из пистолета, фехтовал не хуже Севербека (общего учителя фехтования того времени) и, невзирая на пылкость характера, хладнокровен и в сражениях, и в поединке”, — описывает современник.

Славился Федор Иванович, почти до 40 лет остававшийся холостяком, и своими победами над женщинами. Сама внешность его была замечательна. С.Л. Толстой, со слов отца, обрисовывает его так: “Среднего роста, плотен, силен, красив и хорошо сложен, лицо его кругло, полно и смугло, вьющиеся волосы были черны и густы, черные глаза его блестяли...” Сам же Лев Толстой, видевший дядю в детстве, вспоминал: “Помню его прекрасное лицо: бронзовое,



бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта и такие же белые курчавые волосы”. Но опять-таки не только внешностью покорял Американец женские сердца. Впоследствии один из его друзей объяснял молодой даме: “Таких людей уже нет. Если бы он вас полюбил и вам бы захотелось вставить в браслет звезду с неба, он бы ее достал. Для него не было невозможного, и все ему покорялось. Клянусь вам, что в его присутствии вы не испугались бы появления льва”.

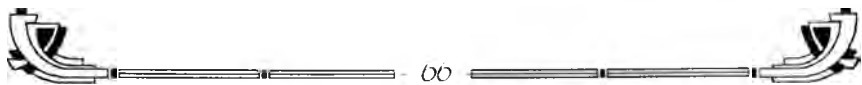
Многое в характере и поведении Федора Толстого в наше время представляется безнравственным, но полтора века назад действовали иные моральные критерии. С.Г. Волконский специально подчеркивал: “Во всех моих товарищах, не исключая и эскадронных командиров, было много светской щекотливости... но вряд ли кто бы выдержал разбор своей совести... общая склонность к пьянству, разгулу жизни, молодечеству... Шулерничать не было считаемо за порок”.

При всех своих пороках Федор Иванович был человеком с большими духовными запросами и стоял много выше окружающей его среды. “Умен он был, как демон, и удивительно красноречив. Он любил софизмы и парадоксы, и с ним трудно было спорить”, — завистливо писал Булгарин.

Толстой любил и отлично знал литературу, интересовался философией:

*К тому же любопытным умом  
Умеешь всем речам внимать...  
Ты знаешь цену Кондильяку,  
В Вольтере любишь шуток дар  
И платишь сердцем дань Жан-Жаку. —*

констатировал в послании “Толстому” П.А. Вяземский. Он был близок со многими тогдашними писателями: И.И. Дмитриевым, Шаховским, Д. Давыдовым, Катениным, Батюшковым, Баратынским, Чаадаевым, Вельтманом и др. Особенно дружески относился к нему



П.А. Вяземский: “Более всех вижу и ценю здесь во многих отношениях Толстого, который человек интересный и любопытный”, — писал он П.И. Тургеневу. Его привлекла сама “контрастность” личности приятеля. В 1818 году Вяземский обращается к Федору Ивановичу с посланием:

*Американец и цыган,  
На свете нравственном загадка,  
Которого, как лихорадка,  
Мятежных склонностей дурман  
Или страстей кипящих схватка  
Всегда из края мечет в край,  
Из рая в ад, из ада в рай!  
Которого душа есть пламень,  
А ум — холодный эгоист;  
Под бурей рока — твердый камень!  
В волненье страсти — легкий лист!*

Это стихотворение правилось А.С. Пушкину, а две последние строчки он использовал как эпиграф к своей поэме “Кавказский пленник”. Рассказы и анекдоты об Американце и его “подвигах” поэт слышал еще в стенах Лицея, а потом от своих друзей, приятельствующих и с Толстым. Тот, в свою очередь, был много наслышан о гениальном юнце и читал в журналах его стихи. Но Федор Иванович нечасто бывал в Петербурге, и их личное знакомство состоялось только в октябре-ноябре 1819 года. Несмотря на возрастную разницу и на непродолжительность знакомства (Толстой скоро вернулся в Москву), они сошлись — Пушкин позднее подчеркивал, что с графом “расстался приятельски и... с жаром защищал всякий раз, когда представлялся тому случай”.

Тем более неожиданной и необъяснимой была литературная переналка, завязавшаяся между ними вскоре после ссылки Пушкина на юг. Уже в 1820 году столичные друзья получили из

Кишинева эпиграмму, адресат которой легко угадывался:

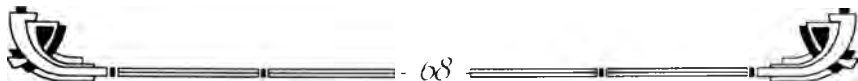
*В жизни мрачной и презренной  
Был он долго погружен;  
Долго все концы вселенной  
Осквернял развратом он.  
Но исправясь понемногу,  
Он загладил свой позор,  
И теперь он — слава Богу —  
Только что картежный вор.*

Вслед за тем в 1821 году в журнале “Сын Отечества” (№ 35) было опубликовано “Послание к Чаадаеву”, в котором Пушкин упоминал

*...философа, который в прежни лета  
Развратом изумил четыре части света,  
Но, просветив себя, загладил свой позор.  
Отвыкнул от вина и стал картежный вор.*

В журнале вместо “философа” напечатали “глупца философа”, и Пушкин в письме к издателю Н.И. Гречу выговаривает: “Вчера видел я в “Сыне Отечества” мое послание к Чаадаеву... там напечатано глупца философа; зачем глупца? Стихи относятся к Американцу Толстому, который вовсе не глупец”. А П.А. Вяземскому, недоумевавшему, почему в этом стихотворении обруган известный историк профессор М.Т. Каченовский, в письме от 2 января 1822 года объясняет: “...его я задел в послании к Чаадаеву... чтобы поставить с ним на одном ряду Американца Толстого, которого презирать мудренее”. В этих словах сквозит невольное уважение к противнику.

Причину ссоры современные пушкинисты считают установленной. Ее, даже без тени сомнения, наиболее четко сформулировал Ю.М. Лотман: “Незадолго до ссылки на юг по Петербургу поползла гнусная сплетня о том, что поэт был секретно, по приказанию правительства, высечен. Распустил ее известный авантюрист, бретер, картежник Ф.И. Толстой (Американец)”. Узнав об этом уже в



Кишиневе, Пушкин решил расквитаться с клеветником. 1 сентября 1822 года он пишет П.А. Вяземскому: “Извини меня, если буду говорить с тобою про Толстого, мнение твое мне драгоценно... Ему показалось забавно сделать из меня неприятеля и смешить на мой счет письмами чердак князя Шаховского, я узнал обо всем, будучи уже сослан, и, полагая мщение одной из первых христианских добродетелей — в бессилии своего бешенства закидал издали Толстого журнальной грязью... Впрочем, я свое дело сделал и с Толстым на бумаге больше связываться не хочу. Я бы мог оправдаться перед тобой сильнее и яснее, но уважаю твои связи с человеком, который так мало на тебя походит”.

Из слов Пушкина трудно составить представление о конкретной причине его внезапной неприязни к Американцу. Но есть источник, в котором, казалось бы, все объясняется до конца. Это кишиневский дневник семнадцатилетнего прапорщика Ф.Н. Лугинина: “Носились слухи, что его (Пушкина. — В.Б.) выскли в Тайной канцелярии, но это вздор, — записывает он 15 июня 1822 года. — В Петербурге имел он за это дуэль. Также в Москву этой зимой хочет ехать, чтобы иметь дуэль с одним графом Толстым, Американцем, который главный распускает эти слухи. Как у него нет никакого приятеля в Москве, то я предложил быть его секундантом, если этой зимой буду в Москве, чему он очень обрадовался”.

Таким образом, поэт легко открывает причину ссоры с Толстым юнцу, шапочному знакомому, тогда как близкому другу объясняет ее туманными намеками. Более того, он договаривается с Лугининым съехаться ближайшей зимой в Москве для дуэли с обидчиком, словно забыв, что, являясь ссыльным, лишен такой возможности. Поневоле возникает предположение, что Пушкин относился к своему молодому собеседнику несерьезно, говоря ему первое, что пришло на ум. Впрочем, другим приятелям он дает другие объяснения, но тоже неправдоподобные. “Где-то в Москве, — вспоминал А.Н. Вульф со



слов поэта, — Пушкин встретился с Толстым за карточным столом. Была игра. Толстой передернул. Пушкин заметил ему это. “Да, я сам это знаю, — ответил ему Толстой, — но не люблю, чтобы это мне замечали”. Вследствие этого Пушкин намеревался стреляться с Толстым и вот, готовясь к этой дуэли, утрачиваясь со мною в стрельбе”. Здесь Пушкин даже не удосужился выдумать что-то свое, а просто воспользовался расхожим анекдотом об Американце.

Но, может быть, все-таки именно Федор Иванович Толстой выдумал и распустил по Петербургу слух о том, что Пушкина высекали в Тайной канцелярии?

Известно, как сильно потряс слух Пушкина. Сохранилось его неотправленное письмо Александру I: “Мне было 20 лет в 1820 году. Необдуманные отзывы, сатирические стихи... Разнесся слух, будто я был отвезен в Тайную канцелярию и высечен. До меня до последнего дошел этот слух, который стал общим. Я увидел себя опозоренным перед светом”. Первым о распространившемся слухе Пушкину сообщил П.А. Катенин, а П.Я. Чаадаев убедил не воспринимать все трагически. Во всяком случае, Пушкин знал о порочащем его честь слухе за несколько недель до высылки из Петербурга.

Ф.И. Толстой находился в Петербурге до ноября 1819 года, а затем вернулся в Москву — уже поэтому он не мог разносить по петербургским салонам клевету на Пушкина. Правда, поэт ставил в вину Американцу письмо, которое тот написал князю А.А. Шаховскому из Москвы где-то около мая 1820 года, когда слухи о порке уже циркулировали всюю (Пушкин узнал о нем, находясь на юге). Поспешившие оповестить его о содержании письма доброхоты, очевидно, не принадлежали к кругу близких друзей поэта; это не были ни Вяземский, ни Катенин, ни родственники, и едва ли не преследовали цель сравить горячего юношу с опаснейшим дуэлянтом России, а в таких случаях “обидные” фразы в пересказе звучат обычно куда резче, чем в самом оригинале. Тем не менее задетый



Пушкин нигде не упрекает Толстого в клевете, а только в насмешке. В письме к брату Льву в октябре 1822 года он даже склонен считать главным виновником ссоры не столько Американца, сколько Шаховского, прочитавшего пресловутое письмо вслух гостям: "...вся моя ссора с Толстым происходит от нескромности князя Шаховского".

Данные слова подтверждают, что реакция Пушкина обуславливалась не содержанием письма, а устойчивой репутацией Толстого как завзятого дуэлянта. Большинство современников благоразумно предпочитали терпеть обиды, нанесенные Американцем, но поэту было невыносимо полагать, что общество может счесть за трусость, если он промолчит в ответ на насмешку, ставшую из-за нескромности Шаховского достоянием гласности. Фактически с ним повторялась ситуация, повлекшая в 1809 году дуэль между графом Толстым и А.И. Нарышкиным просто из-за двусмысленной фразы. К тому же предстоящий, но надолго откладываемый опасный поединок (это нашло отображение в повести "Выстрел") остро и возбуждающе действовал на нервы Пушкина.

То, что причина ссоры была ничтожной, показывает и поведение близких друзей Пушкина: и Вяземский, и Баратынский, и Жуковский продолжают поддерживать приятельские отношения с Федором Ивановичем. Так, ссыльный П.А. Катенин в январе 1823 года сообщал Н.Н. Бахтину: "О чем писать из Кологрива, о приезде в здешний край умного графа Толстого, у которого я провел приятную неделю". Не приходится, конечно, сомневаться, что если бы тот действительно распускал слухи о порке Пушкина, друзья поэта отреагировали бы должным образом.

Хотя Пушкин в сентябре 1822 года и уверял Вяземского — "с Толстым на бумаге больше связываться не хочу", но Американец был слишком яркой личностью, чтобы поэт не соблазнился возможностью увековечить его в одном из крупных своих произведений. 23 апреля 1823 года он извещает брата Льва: "Толстой явится у меня во всем

блеске в 4-й песне Онегина, если его пасквиль этого стоит, и посему попроси его эпиграмму и пр. От Вяземского (непрерменно)”.

Эпиграмма, гипересующая Пушкина, была написана Толстым сразу после опубликования послания к Чаадаеву и предназначалась для напечатания в “Съзне Отечества”, но Н.И. Греч не захотел поместить ее в журнале:

*Сатиры нравственной язвительное жало  
С пасквильной клеветой не сходствует нисало,  
В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл,  
Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил,  
Примером ты рази, а не стихом пороки,  
И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки.*

Эпиграмма тяжеловата и дидактична — правда, ее автор и не мнил себя литератором.

Однако в 4-й главе “Евгения Онегина” о Толстом не сказано ни слова, и Пушкина опередил А.С. Грибоедов, давний и короткий знакомец Американца. В IV действии “Горя от ума”, написанном летом 1823 года, Репетиллов зовет Чацкого в Английский клуб на собрание “Секретнейшего союза”, рассказывая:

*...голова у нас, какой в России нету,  
Не надо называть, узнаешь по портрету:  
Ночной разбойник, дуэлист,  
В Камчатку сослан был, вернулся Алеутом,  
И крепко на руки нечист;  
Да умный человек не может быть не плутом,  
Когда ж об честности высокой говорит,  
Каким-то демоном внушает:  
Глаза в крови, лицо горит,  
Сам плачет, и мы все рыдаем.*

Лаконичная, но всеобъемлющая характеристика! Владимир Соловьев в “Трех разговорах” позднее восхищался: “Этот гениальный образ не сочиненный, а живьем схваченный и



увекоченный Грибоедовым, представляет собой настоящий тип, русский и всемирный”.

Свой образ Толстого-Американца, запечатленный в 1826 году в шестой главе “Евгения Онегина”, Пушкин создавал с оглядкой на комедию Грибоедова, что сам оговаривает в примечании. Федор Иванович выведен в романе под именем Зарецкого. Это

*...некогда буйн,*

*Картежной шайки атаман,*

*Глава повес, трибун трактирный*

Зарецкий — шутник и весельчак:

*Бывало он трюнил забавно,*

*Умел морочить дурака,*

*И умного дурачить славно*

.....

*Умел он весело поспорить,*

*Остро и тупо отвечать,*

*Порой расчетливо молчать,*

*Порой расчетливо повздорить.*

Поэт не забывает отметить “злую храбрость” Зарецкого, его умение метко стрелять из пистолета. Но это в прошлом, а с возрастом Зарецкий стал просто “мирным помещиком” и

*Под сень черемух и акаций*

*От бурь укryвшись наконец,*

*Живет, как истинный мудрец,*

*Капусту садит, как Гораций,*

*Разводит уток и гусей*

*И учит азбуке детей.*

В этих строчках содержится намек на перемену Толстым-Зарецким образа жизни. В 1821 году Федор Иванович женился и с быстро прирастающей семьей большую часть года проводил в своих подмосковной и костромской деревнях, где рачительно и



успешно вел хозяйство. К тому времени и чувство обиды у поэта притупилось: готовя в 1825 году к изданию сборник стихов, он изъясил из послания к Чаадаеву текст, порочивший Американца. В “Евгении Онегине” Пушкин судит о нем более объективно:

*Он был не глуп: и мой Евгений,  
Не уважая сердца в нем,  
Любил и дух его суждений,  
И здравый толк о том, о сем.  
Он с удовольствием, бывало,  
Видался с ним...*

Это не только объяснение отношения Онегина к Зарецкому, а и Пушкина к Толстому. Более того, поэт здесь излагает и причину ссоры между ними: Американец мог приятеля

*...тайно обесславить  
Веселой шуткою, враньем...  
Конечно, быть должно презреньем  
Ценой его забавных слов,  
Но шепот, хохотня глупцов...*

Опять-таки и здесь нет упоминания о распространении порочащей честь поэта клеветы — речь идет о “веселой шутке”, о “забавных словах”. И Пушкин “отшучивается” подобным же образом: в романе Зарецкий, будучи пьяным, свалился с лошади и попал в плен к французам. Пушкин отлично знает, что это “вранье”, что Толстой никогда в плену не был, но... “ты мне и аз воздам”.

8 сентября 1826 года освобожденный из ссылки в Михайловском А.С. Пушкин приехал в Москву и в тот же день поручил С.А. Соболевскому передать Ф.И. Толстому вызов на дуэль. К счастью, последнего не оказалось в Москве, а вскоре общие друзья помирили их, что, по-видимому, было сделать нетрудно. Через пару лет между ними вновь устанавливаются короткие, можно сказать, товарищеские отношения. Сохранилась записка, датированная концом 1828 года, с



приглашением Американца на пирушку к П.А. Вяземскому: “Сейчас узнаём, что ты здесь, сделай милость, приезжай. Упитые вином, мы жаждем одного тебя. Бологовский, Пушкин, Киселев”. Федор Иванович ответил в тоне: “О, пресвятая и живоначалная Троица, но в полупитой, не вином, а наливкою, кою приемлете как предтечу Толстова”.

Однако их связывало не только веселое застолье — в те же, например, дни Толстой присутствует на чтении “Полтавы”. Вообще, поэт стал хладнокровнее воспринимать шутки и остроты приятеля. Да и сам Американец с годами изменился: все реже позволяет себе буйные выходки, избегает пьяных оргий, неохотнее садится за карты, избегает дуэлей, предпочитая отвечать на колкости не метким выстрелом, а метким словом. Характерен рассказ актера М.С.Щепкина:

“Раз навестил я Александра Сергеевича Пушкина, который, приезжая в Москву, останавливался всегда у П.В. Нащокина. Там уже были граф Толстой (Американец) и Жихарев, автор “Записок студента”. В то время “Горе от ума” возбуждало в публике самые оживленные толки. Жихарев, желая кольнуть графа, беспрестанно повторял за обедом следующие стихи из комедии (так как общая молва относила их именно на его счет):

*“Ночной разбойник, дуэлист...”* и пр.

Граф Толстой, как человек с большим умом, не выдал себя и при чтении этих стихов сам хохотал от души. Такое притворное равнодушие задело Жихарева за живое, и он снова вздумал повторять стихи после обеда. Толстой встал перед ним, посмотрел серьезно ему в лицо и, обратясь к присутствующим, спросил: “Не правда ли, черен?” (Жихарев был смуглолиц и черноволос. — В.Б.) — Да! — Ну, а перед собственной душой он совершенный блондин”. Жихарев обиделся и замолчал”.

Живя в Москве на широкую ногу и имея бесчисленное родство в аристократических кругах, граф Толстой пользовался, несмотря на свою репутацию, немалым авторитетом в высшем свете. Поэтому, увлекшись Натальей Гончаровой и зная, что получить согласие ее родных на брак



с ним будет непросто, Пушкин в апреле 1829 года избрал своим сватом Федора Ивановича. Такое важное для него поручение поэт мог дать только человеку, которому полностью доверял. Гончаровы передали через Толстого уклончивый ответ, но для первого раза Александр Сергеевич на большее, пожалуй, и не рассчитывал. После этого он считал Американца как бы и в свойстве с собой и в мае 1836 года писал жене из Москвы: “Видал я свата нашего Толстова”.

Уехав в мае 1829 года на Кавказ и побывав проездом через Орел у генерала А.П. Ермолова, Пушкин передал ему иронический отзыв Толстого об И.Ф. Паскевиче, а в письме из Тифлиса сообщал Федору Ивановичу: “...видал Ермолова. Хоть ты его не очень жалуешь, принужден я тебе сказать, что нашел в нем разительное сходство с тобою не только в обороте мыслей и во мнениях, но даже в чертах лица и в их выражении”.

Толстой, в 1830-х годах сам сильно изменившийся, зорко замечает перемены в Пушкине, хотя не все они ему по душе: “Пушкин со страстью к картам и нежностью к Гончаровой — для меня погиб”. Сказано это в шутку — их прижизненные отношения продолжаются, и, например, в январе 1831 года Пушкин сообщал Вяземскому о поездке Толстого в Петербург.

Пушкин, готовясь в Михайловском к поединку с Американцем, говорил Вульффу: “Этот меня не убьет, а убьет белокурый, так колдунья напорожила”. Получив известие о дуэли с Дантесом и о смерти поэта, историк М.П. Погодин отметил в дневнике, что ездил “к Толстому и Баратынскому. Все говорили о Пушкине и плакали”.

Сам Федор Иванович скончался в 1846 году. Узнав об этом, В.А. Жуковский писал А.Я. Булгакову: “Между известиями твоими из Москвы одно для меня весьма печальное — известие о смерти графа Толстого. В нем было много хороших качеств. Все остальное было ведомо только по преданию, и у меня всегда к нему лежало сердце, и он был добрым приятелем своих приятелей”.

В число “приятелей” Федора Ивановича Жуковский, несомненно, включал и Пушкина, и, думается, великий поэт мог бы подписаться под этими теплыми словами.



# Последний визитер



Видный литературовед предреволюционной эпохи А.И. Киршичников, определяя место Н.М. Коншина в истории русской литературы XIX века, аттестовал его как “задушевного друга Баратынского, близкого приятеля Дельвига и хорошего знакомого Пушкина” и как “одного из тех любителей отечественной словесности, в кружке которых рос и креп гений Пушкина”. Следует все-таки уточнить, что Коншин был не просто “любитель” — целые десятилетия он неустанно трудился на литературной ниве, а некоторые его произведения пользовались в свое время и популярностью. Однако потомков действительно более интересует не оригинальное творчество Коншина, а его общение с замечательными русскими поэтами.

Николай Михайлович родился в октябре 1793 года в Костроме. Коншины принадлежали к древнему дворянству и еще в XV веке служили при митрополичьем дворе, а мать будущего писателя принадлежала тоже к старейшему роду Изъединовых. Правда, родители были небогаты, и отец, мелкий чиновник, главное, что мог сделать для сына, так это воспитать его “в строгости”. На двенадцатом году жизни мальчика отдали в только что открывшуюся

гимназию, но в 1808 году забрали из нее и отправили одного в Петербург, в кадетский корпус. При этом отец даже не снабдил его грамотой о принадлежности к дворянству, без которой в корпус не принимали. Помыкавшись в чужом большом городе без покровителей, денег и документов, Кошшин все же был зачислен в корпус, но в роту для “разночинцев”, где с кадетами обращались нарочито грубо и жестоко. Позднее Николай Михайлович вспоминал этот период своей жизни как “унизительный”. Через три года он был выпущен кондуктором в инженерную часть, но стремился обязательно получить офицерский чин. Кошшину пришлось сдавать специальные экзамены, которые он выдержал блестяще, получив право на службу в гвардии, но из-за отсутствия документов о дворянстве был отправлен прапорщиком в армию.

Казалось, вся жизнь костромича в молодости — сплошная цепь несчастий и разочарований. С конца 1811 года он служил в конно-артиллерийской бригаде, расквартированной в Смоленске, но в самом начале Отечественной войны тяжело заболел и находился в госпитале вплоть до изгнания французов из России. Только в 1813-1814 годах Кошшин со своей батареей совершил поход к Гродно и далее под Варшаву. И хотя в стихотворении “Три времени” (1821) он декларирует:

*На поле широком убийства и славы  
На брань за свободу я гордо ходил:  
Я ужасы боя душой полюбил,  
И ночь без ночлега, и ратников нравы. —*

наиболее глубокий след в его жизни оставили не “ужасы” боев, в которых участвовать ему и не довелось, а знакомство во время пребывания батарей в городе Шклове с учителем тамошнего кадетского корпуса Александром Старьнкевичем, выдающимся эрудитом и библиофилом (собрал громадную библиотеку “на всех языках”), “какого, по словам Кошшина, душа моя давно искала”. Продолжительные беседы с

Старынкевичем пробудили у молодого офицера стойкий интерес к литературе и намерение заняться самообразованием.

Военная карьера у Коншина не складывалась. Его сверстники и сослуживцы за время войны получили чины и ордена, о себе же Николай Михайлович писал, что мир в Европе “застал меня в этом же чине (прапорщика. — В.Б.), но уже больным и сердитым”. Весной 1816 года его перевели в Молдавскую армию, но там Коншин попал в офицерскую среду, где его не понимали и где он был обречен на одиночество. Проведя так полтора года, Коншин не выдержал и вышел в отставку. Он переезжает в Петербург и, не имея состояния, определяется чиновником в Департамент мануфактуры, где служит вместе с отцом. Вскоре бюрократическая рутинная стала вызывать у него отвращение — в департамент Коншин, по собственному признанию, ходил “скрепя сердце”. Лишь занятия литературой скрашивали его жизнь: он изучает Жуковского, с упоением читает Пушкина; не исключено, что именно тогда он лично познакомился с великим поэтом. Николай Михайлович убедился, что для него служба в строю предпочтительнее чиновничьей лямки, и в марте 1818 года вступил в Нейшлотский полк в чине штабс-капитана, получив там пост командира роты. Полк был расквартирован в Финляндии, где нес гарнизонную службу. Конечно, Коншин изнывал там от скуки и оторванности от культурных центров, но тут судьба сделала ему подарок. В январе 1820 года в Нейшлотский полк был переведен унтер-офицер Евгений Баратынский. Костромич впервые встретился с ним в штабе: “Мы разговорились сначала про Петербург, про театр, про Лицей и Пушкина и, наконец, про литературу... Часа через два, переговора и то, и другое, мы дружно обнялись”.

Их дружба крепла с каждым свиданием. “Небо послало мне товарища, доброго Баратынского, — радовался Николай Михайлович. — Первый раз в жизни я встретился еще с человеком,

который характером и сердцем столько походил на меня". Баратынский уверил его в намерении, давно лелеемом Кошпиным, всерьез заняться литературой. Недаром первые публикации Кошпина, состоявшиеся в 1820 году в журналах "Благонамеренный" и "Соревнователь", являлись посланиями к Баратынскому. В свою очередь и тот в 1820-1821 годах откликнулся тремя посланиями: "Поверь, мой милый друг", "Живи смелей, товарищ мой" и "Пора покинуть, милый друг, знамена ветреной Киприды", — напечатанными в "Сыне Отечества", и др. Эта переписка, сделавшая известным имя Кошпина в литературных кругах, наглядно продемонстрировала подражательность его творчества — он тотчас прослыл "поэтической тенью" Баратынского. Так воспринимал Кошпина и А.С. Пушкин, в письме к брату в шутку назвавший поэта В.И. Туманского "мой Кошпиг". А в августе 1825 года он писал из Михайловского В.А. Жуковскому: "...жизнь моя сбивалась иногда на эпиграмму, но вообще она была элегией в роде Кошпина".

Пушкин тогда находился в ссылке, но Николаю Михайловичу вскоре представился случай тесно сойтись с его ближайшим окружением. В начале 1821 года Нейшлотский полк на год был направлен в Петербург для несения караульной службы. "Петербург кипел. Это был прекрасный период умственного пробуждения", — вспоминал Кошпиг. Дружья поселились в казармах Семеновского полка, Баратынский свел Кошпина с Дельвигом (они быстро подружились), познакомил с П.А. Плетневым (высоко оценившим его стихи). С К.Ф. Рылевым Кошпиг был близок и раньше. В столице он вращается в кругу лиц, который образовали "офицеры гвардии и юноши первого лицейского выпуска": Н. Муравьев, А. Бестужев, П. Катенин, В. Кюхельбекер и другие. Частые публикации его стихов в журналах привели к избранию Николая Михайловича в 1821 году действительным членом "Вольного общества любителей российской словесности". Год, прожитый им в Петербурге,



чрезвычайно расширил его кругозор. В 1844 году Коншин писал Плетневу, что смерть Баратынского “напомнила и Общество Соревнователей, и Субботы, в которые мы собирались к Вам, на чисто поэтическую человеческую беседу”. Несомненно, однако, что в обществе Н. Муравьева и П. Катенина нейшлотскому офицеру доводилось участвовать и в беседах на политические темы, и это не могло не отразиться на его мировоззрении.

В Финляндию в 1822 году Коншин возвращается уже как в ссылку, с сожалением вспоминая о столице, поскольку оставил

*Там круг друзей его бесценный,*

*Там все любимое певцом.*

В Роченсальме, близ Котку, месте стоянки полка, вокруг Баратынского и Коншина образуется маленький кружок единомышленников, объединяемых, по-видимому, не столько любовью к поэзии, сколько критическим отношением к окружающей действительности. Их откровенные беседы предосудительны для властей, на что намекает в стихах и сам Николай Михайлович:

*Уже окончен срок трудов,*

*Завейте на зиму знамена,*

*Идет прекрасная Помона,*

*Богиня долгих вечеров.*

*Закроем ставни от народа,*

*Плотней усядемся в кружок:*

*Закон наш — дружба и свобода,*

*И ни словечка за порог.*

Мудрое предостережение, но сами друзья-поэты помнили о нем далеко не всегда. В 1823 году они сочинили сатирические куплеты, высмеивавшие власть и общество. По воспоминаниям Коншина, эти куплеты каким-то образом были “сообщены публике здешней, с колкими на счет ее прибавлениями, и нас с Баратынским избегали



все”. Вспыхнул конфликт: полковому начальству давно была не по душе литературная деятельность ротного командира, особенно же раздражало то, что он обходился со служившим в его роте унтер-офицером Баратынским не как с проштрафившимся подчиненным, а как с другом, постоянно оказывая ему “участья нежного сердечную услугу”. В результате Кошпину пришлось подать в отставку, которую он получил в ноябре 1823 года.

Он переезжает в Петербург, где тесно сходитя с литературными кругами. Стихи Кошпина, преимущественно элегические и анакреонтические, регулярно печатаются в альманахах “Соревнователь”, “Мнемозина”, “Полярная звезда”, “Новости литературы”, “Невский альманах” и т. д., часто соседствуя со стихами А.С. Пушкина. Но литературные занятия не приносили дохода, а поэт, не располагавший состоянием и только что женившийся, должен был подумать о приискании места. В начале 1824 года он переезжает с семьей на родину и определяется чиновником особых поручений в Костромскую казенную палату.

В Костроме в то время губернаторствовал бывший боевой суворовский генерал, престарелый и добродушный Карл Иванович Баумгартен. Литературная жизнь была, можно сказать, ключом: здесь жили известный исследователь “Слова о полку Игореве” Н.Ф. Грамматин, часто приезжал знакомый Кошпину еще по Петербургу П.А. Катенин, делала первые успешные шаги на поэтическом поприще А.И. Готовцева. Для Николая Михайловича сравнительно непродолжительное пребывание в Костроме тоже оказалось плодотворным: им была написана волшебная поэма “Владелец волшебного хрусталика”, в 1825 году выпущенная отдельным изданием, очевидно, в то же время появилось и самое популярное стихотворение костромича “Ария”. Напечатанное в “Невском альманахе на 1825 год” и положенное на музыку А.Л. Гурилевым, оно получило широкую известность как студенческая песня и вошло во многие песенники:



*Век юный, прелестный,  
Друзья, улетит;  
Нам все в поднебесной  
Изменой грозит;  
Летит стрелой  
Наш век молодой,  
Как сладкий сон,  
Минует он.  
Лови, лови  
Часы любви,  
Пока горит любовь в крови!*

Однако на родине поэт не прижился. В сентябре 1825 года он переводится в казенную палату в Тверь, а в 1827 году выходит в отставку, поселившись в Петербурге. О том, как неуютно было ему в большом столичном городе, свидетельствует сильное и самостоятельное стихотворение Коншина 1828 года на еще непривычную для тогдашней русской поэзии урбанистическую тему:

*В дымном городе душно,  
Тесно слуху и взору,  
В нем убили мы скучно  
Жизни лучшую пору.  
В небе — пыль, либо тучи,  
Либо жар, либо громы;  
Тесно сжатые в кучи,  
Кверху кинулись дома;  
Есть там смех, да не радость,  
Все блестит, но бездушно...  
Слушай, бедная младость,  
В дымном городе душно!*



Понятно, как обрадовался Коншин при его негативном отношении к “дымному” Петербургу полученному в 1829 году предложению занять пост правителя канцелярии главноуправляющего Царским Селом. Загородная императорская резиденция с ее великолепным дворцово-парковым ансамблем и знаменитым Лицеем жила обособленной от столицы жизнью, затихающей в зимнюю пору. Служба была спокойной и необременительной, оставляя много свободного времени, которое Николай Михайлович посвящал в основном литературным занятиям. В первые же месяцы своего здесь пребывания он задумал и осуществил совместно с молодым писателем бароном Е.Ф.Розеном издание нашедшего признание у читателей сборника “Царское Село. Альманах на 1830 год”. Издатели задались целью привлечь к участию в альманахе лучших русских писателей. В нем, очевидно, из-за дружеского расположения к Коншину (они были на “ты”) поместил повесть и стихи Дельвиг, вообще-то приберегавший свои произведения для собственных изданий, прислал стихи и давний друг издателя Евгений Баратынский.

Три стихотворения дал в “Царское Село” и А.С. Пушкин. Он познакомился или возобновил юношеское знакомство с Коншиным в 1827 году в Петербурге, где они не могли не встречаться у Дельвига, которого оба часто навещали. Великий поэт был невысокого мнения о стихах Коншина, даже иронизировал по их адресу, однако это его отношение не распространялось на саму личность Николая Михайловича, человека глубоко порядочного, умного и многозначащего, искренне любящего русскую литературу. Последнее проявилось даже в такой мелочи, как превосходное полиграфическое оформление “Царского Села”. Альманах и внешне очень красив: с литографированным титульным листом, с гравюрой и портретом Дельвига работы В.П. Лангера на фронтисписе.

Регулярно посещая Царское Село, куда он подчас хаживал даже



нешком, Пушкин встречался там с Коншиным. Особенно сблизились они летом 1831 года, когда Пушкин с семьей поселился на даче в Царском Селе. Здесь он по достоинству оценил дружелюбие и обязательность Николая Михайловича, который снабжал его свежими журналами и газетами, выполнял просьбы бытового характера и т. д.

Сохранилось несколько записок Пушкина к Коншину: “Собака нашлась благодаря вашим приказаниям. Жена сердечно вас благодарит, но собачник поставил меня в затруднительное положение. Я давал ему за труды 10 рублей, но не взял, говоря: мало, по мне и он, и собака того не стоят, но жена моя другого мнения. Здоровы ли и скоро ли увидимся? А.П.”

Другая записка отправлена при возвращении журналов: “Вот все номера, находящиеся у меня. Сердечно благодарю за доставление известий, хотя и не радостных. Нет ли у вас “Литературной газеты”? Здоровы ли вы и Авдотья Яковлевна? До свидания. А.П.”

Несмотря на незначительность содержания, эти записки свидетельствуют о короткости отношений между корреспондентом и адресатом и о том, что они бывали друг у друга. Тогда же Николай Михайлович пополнил и свою небольшую коллекцию автографов русских писателей. В ее составе находилось, в частности, послание В.Л. Пушкина “А.С. Пушкину” (“Племянник и поэт! Позволь, чтоб дядя твой...”) 1830 года с пометкой Коншина: “Последнее стихотворение В. Л. Пушкина, писанное его рукою. Подарено от А.С. мне в июне 1831. Царское Село”. Великий поэт дорожил памятью дяди и мог подарить оставшуюся после него литературную реликвию только очень симпатичному ему человеку.

У царскосельского коллекционера были автографы и самого Александра Сергеевича, например, его статья “Торжество дружбы или оправданный Александр Анфимович Орлов”. Сохранился и список стихотворения “Моя родословная”, сделанный Коншиным, но с поправками и подписью Пушкина. А в поздних воспоминаниях

о В.А. Жуковском он приводит текст пушкинского стихотворения “Штабс-капитану, Гете, Грею” в неизвестной редакции.

Правда, их отношения не были постоянными и стали ослабевать после смерти Дельвига, но никогда окончательно не затухали. Еще в конце 20-х годов Коншин пробует свои силы в прозе, опубликовав в альманахе “Царское Село” повесть “Остров па садовом озере”. В 1833 году он присылает Пушкину с дарительной надписью свою книгу “Две повести”, написанную с налетом мистицизма. На автора “Повестей Белкина” они, по-видимому, впечатления не произвели. Наконец, в 1834 году Коншин издает слабый роман “Граф Обоянский, или Смоленск в 1812 году”. Об этой книге уничтожительно отозвался в “Литературных мечтаниях” В.Г. Белинский, и уязвленный автор надолго замолчал.

Пушкин, однако, запомнил саму попытку Копшина обратиться к жанру исторического романа. В конце 1836 года Николай Михайлович узнал, что директор народных училищ Тверской губернии известный писатель И.И. Лажечников покидает этот пост, и решил добиваться назначения на его место. Но претендентов на видную и высокооплачиваемую службу в Твери оказалось много, а само назначение зависело от министра просвещения графа С.С. Уварова. Не будучи знаком с ним, Коншин обратился за протекцией к Пушкину. Тот 21-22 декабря 1836 года поспешил ответить:

“Письмо Ваше очень обрадовало меня, любезный и почтенный Николай Михайлович (в тексте “Иванович”. — В.Б.), как знак, что Вы не забыли еще меня. Докладную записку сегодня же пуцу в дело. Жуковского увижу и сдам ему Вас с рук на руки. С Уваровым — увь! Я не в таких дружеских сношениях; но Жуковский, надеюсь, все уладит. Заняв место Лажечникова, не займетесь ли Вы, по примеру Вашего предшественника, и романами? А куда бы хорошо! Все-таки Вы меня забыли, хоть наконец и вспомнили. И я позволю себе дружески Вам за то попенять.



Не будете ли Вы в Петербурге? В таком случае, надеюсь, что я Вас увижу. Ответ постараюсь доставить Вам как можно скорее. А.П.”

Письмо написано в приятельском тоне, видно, что Пушкин искренне хочет помочь своему хорошему знакомому. Тем не менее В.А. Жуковский так и не смог “все уладить”. Видя это, Коншин, живущий в Царском Селе и бывший не в курсе бурных событий последних недель в жизни Пушкина, 27 января 1837 года приехал к нему, чтобы просить или вместе посетить министра, или лично написать ему. Это последнее свидание с поэтом навсегда врезалось в память Николаю Михайловичу — впоследствии он часто вспоминал о нем, а после его смерти этот рассказ был опубликован в ярославской газете:

“Вот приезжаю к нему 27 января утром, часов в 10, после 10, и нахожу в передней два ящика с пистолетами, при них вижу посланного из магазина. Думаю: это — дело обыкновенное для Пушкина, он охотник стрелять в цель. Говорю камердинеру:

— Дома барин?

Тот суетится и скороговоркой отвечает:

— Дома-с. Пожалуйста в кабинет.

Иду туда. Нахожу Пушкина еще в утреннем домашнем костюме и как-то странно расстроенного и взволнованного. Говорю ему о своем деле, а он в это время беспрерывно перебегает от дивана к двери своей комнаты, почти смежной с передней комнатой.

Ну, вижу, у него какая-то особенная забота, и поднимаюсь уже уйти, но он удерживает меня и с видимым волнением говорит отрывисто:

— Хорошо... Хорошо, Николай Михайлович, рад тебе пособить... Сейчас, сейчас еду.

Но вдруг, как бы вспомнив что-то, прибавляет:

— Ах, брат!.. теперь нельзя... Да, постой! Он (С.С. Уваров), кажется, знает тебя...

Видя его тревожное состояние, говорю ему:

— Ну, Александр Сергеевич, не во время я к тебе заехал, лучше побываю на днях.

— Ничего... Ничего, любезный мой! — отвечает он. — Как там знать, что будет после?.. Сегодня я его не увижу... Так лучше напишу...

Замечаю, что за начальным словом “Monsieur”, выведенным дрожащею рукой, следуют еще две фразы, которые скоро зачеркиваются. Вдруг он встает и говорит мне:

— Не дивись, что я киплю душой... Знаешь мою горячность... До сих пор не умею владеть собой. Экое дело! Не пишется... Да лучше увижусь... Скажу, скажу ему.

Я поторопился взять шляпу, а он, прощаясь, как будто со слезами на глазах, поцеловал меня.

Каково же мое изумление, когда я через день узнаю, что для Пушкина настали уже последние минуты жизни”.

Коншин был вообще последним посетителем Пушкина до отъезда на дуэль. Назначение в Тверь состоялось лишь в мае 1837 года. Там Николай Михайлович познакомился с близким Пушкину семейством Вульфов. “В Тверском собрании... — писала Елизавета Петровна Вульф в сентябре 1837 года, — познакомились с почтенным семейством Коншиных, из коих Николай Михайлович, теперешний директор гимназии, человек умный, добрый, любящий поэзию”. Занятый службой, Коншин все реже обращается к литературе. До 1842 года время от времени его стихи, причем достаточно зрелые, появляются в “Маяке” и “Москвитянине”, а в 1853 году в “Современнике” промелькнул его перевод одного из стихотворений Шиллера. Отчасти отход от литературы вызван его увлечением историей. Он ведет переписку с М.П. Погодиным и другими историками, в 1840 году печатает статью “Взгляд на древнюю Тверь”, обнаруживает и издает в 1849 году наиболее полный список “Домостроя”.



В стихотворении, датированном 1838 годом, поэт, обращаясь к луне и констатируя, что

*...Не властны тьмы торжественной  
Разогнать твои лучи,*

в то же время отмечает:

*Да, но есть еще сияние,  
Есть луна небес других:  
Там горит воспоминание  
Благ утраченных моих.*

Он сохраняет связи с прежними друзьями Пушкина — Нащокиным, Языковым, Плетневым, а главное — пишет ценные воспоминания о Жуковском, Дельвиге и Баратынском, не утратившие своего значения до наших дней; в них, естественно, встречается и имя Пушкина.

В 1849 году Кошкин покидает Тверь и, послужив недолго в Москве, занимает пост директора Ярославского Демидовского лицея. Его демократическое обращение с лицеистами вызвало недовольство III Отделения, и в 1856 году известный и опытный педагог был вынужден подать в отставку. Однако через три года он назначается главным инспектором училищ Западной Сибири. Тяжелая тысячеверстная дорога губительно подействовала на и без того некрепкое здоровье Кошкина — он скончался в Омске 31 октября 1859 года.

Николаю Михайловичу принадлежит скромное, но определенное место среди поэтов пушкинской плеяды. Такое же место отведено ему в числе тех, с кем был знаком и к кому с симпатией относился Пушкин.



# “Искусный коновал”



Всеволод не принадлежал к числу постоянных спутников Пушкина, однако, хотя само знакомство их было непродолжительным, он оказал поэту услугу, требующую определенного гражданского мужества, и фамилия его встречается в пушкинской переписке.

Всеволод Иванович родился в семье дьячка в селе Марьинском, расположенном всего в пяти верстах от костромского уездного города Нерехты. Быт низшего сельского духовенства мало чем отличался от крестьянского: с ранних лет мальчик работал в поле, пас скот. Но, в отличие от своих крепостных сверстников, дьячкову сыну было обеспечено право на образование, и отец отвез его в Костромскую духовную семинарию. Впрочем, будь его воля, Всеволод без колебаний отрекся бы от такой привилегии: семинарию он возненавидел, богословские науки ему репительно не давались, и Всеволодов (эту фамилию, образованную от имени, ему, не мудрствуя лукаво, дали в семинарии, отец же всю жизнь обходился одним именем “Иван Иванович”) прочно осел на “камчатке” среди “отпетых”. Секли его не только за неуспеваемость, а и за посещения кабаков, дерзости и драки. Наконец терпение семинарского начальства истощилось, Всеволодова исключили из риторического класса. Он



отнюдь не горевал, но надо было на что-то жить — подал прошение об определении на вакантное место дьячка в Благовещенской церкви города Нерехты. Оказалось, что слава о его “подвигах” дошла и до нерехтчан — прихожане уперлись и не приняли буяна. По той же причине не повезло и в других местах.

Отчаявшись, отец кинулся тогда в Кострому и, умалив кого надо, добился возвращения сына в семинарию. Там Всеволодов с грехом пополам добрал до философского класса, но и сам он, и окружающие понимали, что в церковном ведомстве делать ему нечего. К счастью, в Костромскую семинарию в 1811 году пришел из столицы указ: направить нескольких старшекласников, “буде найдутся желающие”, в Императорскую Медико-хирургическую академию. Первым кандидатом в семинарской канцелярии, ни минуты не колеблясь, вписали Всеволодова, рассудив здраво: “Не получается поп, авось получится лекарь”.

Воистину “щуку бросили в реку”. Медико-хирургическая академия была именно тем местом, куда всей душой стремился нерехтчанин. Главное же, там учили лечить не только людей, но и скот, а он еще с детских лет в Марьинском страстно любил животных. В Академии пробудились огромные способности Всеволодова, никак не проявляемые им в семинарии. Да и знал он, как обнаружилось, к моменту переезда в Петербург совсем немало.

С неостывающим рвением взялся Всеволод Иванович за изучение предметов, преподаваемых в Академии, особенно ветеринарии. Его успехи столь велики и заметны, что в сентябре 1813 года студент 3-го курса Всеволодов назначается исполняющим должность прозектора по ветеринарной части при Академии. Его учителем стал профессор кафедры зоологии А.И. Яновский. В 1815 году Всеволодов закончил ветеринарное отделение Академии со степенью лекаря и с золотой медалью, а через год полностью прошел курс и медицинского отделения. Он по-прежнему оставался прозектором

при Академии и одновременно служил и ординатором Петербургского морского госпиталя. Неплохо зная еще с семинарских времен иностранные языки, молодой ученый перевел с латыни труд Толнея “Сокращенная патология скотоврачебной науки” в 4-х частях (1817) и с немецкого — “О разведении овец испанского племени” (1819).

Его начинают ценить и как специалиста-практика: в 1821 году Всеволод Иванович был откомандирован для борьбы с эпидемией сибирской язвы в кавалерийских частях Петербурга.

Тем не менее положение Всеволодова было неопределенным и необеспеченным: руководство Академии полагало, что ветеринария — наука второстепенная и для преподавания ее вполне довольно одного профессора Яновского, а должность прозектора, устраивающая когда-то одинокого студента, не позволяла из-за скудости жалования содержать семью и оставляла мало времени для научных занятий.

Тогда ученый предпринял решительный шаг: он сдает установленные экзамены на звание инспектора врачебной управы и подает прошение на соответствующую вакансию в Псков. Казалось, что это навсегда разлучило его с любимой ветеринарной наукой: обязанностью инспектора был надзор за состоянием больницы и аптек, составление медицинских заключений и т. д.

Псков в то время был небольшим, но губернским городом, в котором практиковало несколько врачей. Всеволодов оказался из них самым опытным. У него хватало состоятельных пациентов, вполне довольных познаниями псковского штаб-лекаря и не колеблющихся доверить ему лечение своих болезней. Однако вскоре Всеволод Иванович приобрел в Пскове и округе репутацию, несколько даже необычную для солидной персоны руководителя губернской медицины, а именно: чудодея по лечению домашнего скота, прежде всего лошадей. В тогдашней русской провинции о дипломированных ветеринарах и не слыхивали, в случае нужды



обращались к простым мужикам-коновалам, а чаще к цыганам. Через некоторое время в губернии убедились, что методы лечения Всеволодова куда эффективнее, нежели у знахарей — у него не стало отбоя от клиентов. Если к этому добавить, что он был человеком добрым, бескорыстным и отзывчивым, то неудивительно, что инспектор врачебной управы стал среди псковитян личностью популярной.

Конечно, как и все в Пскове, Всеволод Иванович знал, что с августа 1824 года в сельце Михайловском отбывал ссылку Александр Сергеевич Пушкин. К сожалению, мы не располагаем конкретными фактами, которые подтверждали бы, что ученый знал и любил стихи ссыльного поэта. Зато известно другое: Всеволодов любил литературу, был большим книголюбом и имел порядочную библиотеку. Все это обусловило и его последующее отношение к Пушкину.

Поэт чувствовал себя в Михайловском, как в клетке, не ограниченная сроками ссылка подчас приводила его в отчаяние. Тогда появились малосбыточные проекты бегства из России. Но и сам Пушкин считал более осуществимым план легального выезда за границу, якобы для лечения застарелой тяжелой болезни. Для этого прежде всего было необходимо заручиться официальным медицинским заключением, что он болен. Сложность же состояла в том, что 26-летний поэт отличался завидным здоровьем.

Прежде всего надо было придумать такую болезнь, которая с трудом поддается распознаванию, и оповестить о ней и необходимости операции сначала друзей, а через них и власти. Пушкин остановился на аневризме сосуда, вероятно, проконсультировавшись с кем-то из врачей, не исключено, что и с самим Всеволодовым, часто разъезжавшим по губернии. Непосредственно к осуществлению плана ссыльный поэт приступил уже весной 1825 года. “Я услышал от твоего брата и от твоей матери, что ты болен: правда ли это? —



тревожился В.А. Жуковский в апрельском письме. — Правда ли, что у тебя в ноге есть что-то похожее на аневризм?..” — “Мой аневризм носил я 10 лет, — и, с Божьей помощью, могу проносить еще года 3. Следственно, дело не к спеху, но Михайловское душно для меня. Если бы царь меня отпустил за границу, то это было бы благодеяние, за которое я бы вечно был ему и друзьям благодарен”.

Наивные надежды Пушкина, однако, не сбылись: 26 июня 1825 года псковскому губернатору было направлено разрешение императора на приезд поэта в Псков до излечения, все у того же В.И. Всеволодова, от болезни. В польском письме к Жуковскому Александр Сергеевич не может сдержать раздражения:

“Неожиданная милость Его Величества тронула меня несказанно... Я справлялся о псковских операторах: мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученном свете по своей книге об излечении лошадей.

Несмотря на все это, я решил остаться в Михайловском... 10 лет не думав о своем аневризме, не вижу причины вдруг о нем расхлопотаться. Я все жду от человеколюбивого сердца императора, авось-либо позволит он мне по временам искать стороны мне по сердцу и лекаря по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства”.

Горечь и ирония звучит и в его письме к П.А. Вяземскому: “Вероятно, ты уже знаешь царскую ко мне милость и позволение приехать во Псков. Я справлялся о тамошних операторах: мне рекомендуют Всеволожского, очень искусного коновала; увидим”.

Несколько пренебрежительный тон в письмах, когда речь заходит о Всеволодове, нарочит: Пушкин знал, что его письма перлюстрируются и хотел внушить властям, что в Пскове нет хирурга, способного успешно оперировать его ногу, а он решится на подобную операцию лишь за границей.



План не осуществился, но поэт не отказался от него. Когда на Российском престоле воцарился Николай I, Пушкин в письме к нему от 11 мая 1826 года вновь утверждает о своей болезни и для вищей убедительности прилагает медицинское заключение, выданное Всеволодовым. Надобно подчеркнуть, что составление данного документа было для инспектора Псковской врачебной управы делом небезопасным. Решая вопрос об отпуске поэта для лечения за границу, высшие власти вполне могли потребовать его переосвидетельствования консилиумом столичных докторов. Обман с аневризмом тогда мог бы раскрыться, что впоследствии плачевно отразилось бы на карьере ученого. Тем не менее он пошел на это ради Пушкина.

Судьба поэта решилась иначе, вскоре его освободили из ссылки, а в 1831 году вернулся в Петербург и сам Всеволодов. В начале февраля этого года умер профессор ветеринарных наук Яновский, заразившись “огневередовой горячкой” при осмотре больных лошадей в конном полку — такие трагедии случались тогда с ветеринарами нередко. То, что его кафедру в Медико-хирургической академии должен унаследовать Всеволод Иванович, считалось как бы само собой разумеющимся: за прожитое в Пскове десятилетие тот зарекомендовал себя научными трудами и как замечательный ветеринар-практик. Он подал заявление о желании занять профессорскую вакансию, успешно прочел пробную лекцию, а с сентября 1831 года уже преподавал в Академии.

1830-е годы были для костромича временем наивысших научных свершений. В 1832 году за книгу “Наружный вид (экстерьер) домашних животных, преимущественно лошади” он получает ученую степень доктора и утверждается в должности ординарного профессора кафедры ветеринарии. В 1833 году им была написана “Зоохирургия или руководительная ветеринарная наука”, расцененная современниками как прекрасный учебник для студентов и



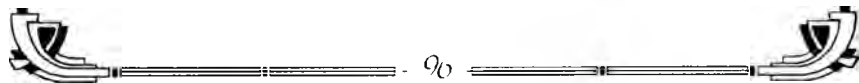
практическое руководство для врачей. За этот труд он был удостоен Демидовской премии.

Однако наибольшую известность Всеволодову принес "Курс скотоводства", изданный в двух частях в 1836 и 1837 годах. Автор указывал, что писал свой труд "для пользы русских скотоводов, не имеющих доселе систематически изложенного руководства в управлении своими практическими занятиями, воспитании домашних животных". "Курс" отличала широта биологического подхода, самобытность в обобщениях и биологическая основа в анализе. В фундамент "Скотоводства" положено кормление и режим содержания скота, а разведение или "усовершенствование" животных рассматривают как их следствие.

Историки науки очень высоко оценивают этот труд Всеволодова. Советский ученый профессор М.Е. Лобанов отмечал: "Курс скотоводства" является совершенно оригинальным, да и, пожалуй, непревзойденным до сих пор по широте изложения произведением в области скотоводства, — только основные его части составляют 2000 страниц текста, с хорошими для своего времени иллюстрациями" и называл его "первым оригинальным многотомным сочинением, излагающим скотоводство как биологическую науку. Даже современные курсы подобного рода могли бы позавидовать ему в широте биологического освещения вопросов скотоводства".

В конце 1830 — начале 1840-х годов выходят новые монографии Всеволодова: "Краткая патология скотоводческой науки", "Развитие животного организма", "Опыт учения о повальных болезнях между животными" и т. д. За их автором укрепляется репутация крупного ученого.

Но Всеволод Иванович был не только замечательным ветеринаром — он обладал замечательными познаниями во многих областях медицины. Например, в 1836 году им был написан трактат "О причинах и предотвращении смертности детей в первые годы жизни",



за который Вольное Экономическое Общество наградило его золотой медалью. В 1839 году за выдающиеся научные труды Всеволодову присваивают степень доктора медицины и хирургии и назначают почетным членом Медицинского совета Министерства внутренних дел. И, наконец, в 1844 году он избирается академиком Медико-хирургической академии. Что говорить, карьера для сына безвестного перехтского дьячка блистательная!

К этому надо добавить, что ученый был талантливым педагогом и высокоэрудированным лектором. Став профессором Академии, он читал там с начала 1830-х годов курсы лекций по зоотомии, зоофизиологии, зоохирургии и скотоводству. Содержание тех курсов профессору пришлось составлять самому: готовых пособий, программ и учебников тогда почти не было. В 1838 году ученый организовал и возглавил в Академии специальную кафедру экозоологии.

Казалось бы, при такой огромной занятости наукой и преподаванием у Всеволодова не могло оставаться времени, чтобы следить за новинками художественной литературы, за содержанием очередных номеров журналов, которых, кстати, выходило уже немало. Но, оказывается, его хватало на все, даже на поддержание контактов со столичными писателями и журналистами. В марте 1834 года петербургские литераторы собрались на квартире у Н.И. Греча, чтобы обсудить условия своего участия в издаваемом Плюшаром “Энциклопедическом Лексиконе”. На этом собрании Всеволод Иванович вновь встретился с А.С. Пушкиным. Правда, великий поэт от участия в “Лексиконе” отказался, ученый же поместил там ряд статей: “Вена”, “Верблюд”, “Ветеринария”, “Врачебная управа” и др.

В 1847 году, пробыв свыше тридцати лет на государственной службе, профессор Всеволодов получил право на пенсию и вышел в отставку. В том же году он издал второй том “Анатомии домашних



животных, преимущественно млекопитающих” — свой последний крупный труд по ветеринарии.

Отныне, когда он стал сравнительно обеспечен и обрел досуг, Всеволод Иванович посвятил себя давнему увлечению, которым в прошлом ему удавалось заниматься лишь урывками, — библиографии повременных изданий, которая в тогдашней России находилась в зачаточном состоянии. В 1849 году он опубликовал “Алфавитный указатель статей, напечатанных в Трудах и других периодических изданиях Вольного Экономического Общества”, активным сотрудником которого ученый состоял многие годы. Указатель был составлен вполне профессионально. После этого Всеволодов взялся за подготовку “Азбучного указателя повременных изданий русской словесности”, но успел издать только первый выпуск на буквы “А-Баг”. Последние годы он прожил в Петербурге, где и скончался 3 декабря 1863 года.

В “Медицинском вестнике” за 1863 год говорилось: “Заслуги профессора Всеволодова весьма важны, если припомнить, что он едва ли не первый ввел у нас преподавание ветеринарных наук, облегчил изучение их изданием многих учебников на русском языке, составляющих настоящую потребность школы”. Добавим, что его имя сохранилось в истории русской культуры вообще и, пусть всего одной строчкой, в биографии Пушкина.



# Загадка Бошняка



Считается установленным, что Александр Карлович Бошняк — фигура мрачная и однозная, игравшая в жизни Пушкина (да если бы его одного!) зловещную роль. Впрочем, чему тут удивляться: вокруг каждого гения толпятся не только доброжелатели и почитатели. Но произвольно вычеркивать из окружения поэта тех его современников, которые вызывают у нас чувство предубеждения и недоверия, едва ли правильно: тогда мы упростим сложное переплетение обстоятельств, в которые иногда попадал Пушкин, не до конца постигнем причины, определявшие коловращения его судьбы. Кроме того, конкретный человек редко является законченным злодеем, для изображения которого довольно одной черной краски, коего влекут на совершение предосудительных деяний лишь низменные и корыстные побуждения.

Бошняки — выходцы из Греции или Македонии, поселились в России при Петре I и к концу XVIII века совершенно обрусели. Один из них, Иван Константинович, в 1770-х годах был комендантом города Саратова, оборонил его от крестьянской повстанческой рати, почему и попал в “Историю Пугачева” А.С. Пушкина, описавшего столкновение Бошняка

с Державиным. Сын его, Карл, отставной премьер-майор, обосновался в имении жены в Нерехтском уезде Костромского наместничества, где у них в августе 1786 года родился первенец Александр.

Он в семилетнем возрасте был, по тогдашнему обычаю, записан в лейб-гвардии Конный полк и позднее получил звание сержанта. Конечно, в полку недоросль не был ни дня: он жил и воспитывался все это время в нерехтской усадьбе Савиково у своей бабушки по матери Марии Семеновны Аже, урожденной Арцыбашевой, горячо любившей внука и не жалевавшей средств на его образование. Но в 1797 году император Павел повелел выключить из службы всех малолетних дворян, лишь числившихся при полках, а живших дома. Получил отставку и Бошняк.

Родственники заволновались. В ход пошла связи, и в марте 1799 года 12-летнего нерехтчанина определяют "юнкером без жалования" в Коллегию иностранных дел, для чего понадобился его личный проезд в Петербург. Однако уже в августе его переводят в Москву и зачисляют в Архив коллегии. Служба эта была фактически синекурой, так как подросток одновременно учился в Благородном пансионе при Московском университете.

Годы, проведенные в пансионе, замечательнейшем учебном заведении своего времени, обычно запечатлевались в памяти его питомцев. Для Александра же Карловича они, казалось, пролетели незаметно: он не печатался в знаменитых пансионских изданиях, не блистал на публичных экзаменах, не гордился наличием своей фамилии на мраморной доске, не коршел над сентиментальными мемуарами. Все же пансион оставил глубокий след в жизни Бошняка: ему он прежде всего (поскольку больше нигде уже не учился) обязан редкостной своей эрудицией и кругом знакомств. Краевед М.Я. Диев, тогда приходской священник в Савикове, свидетельствовал, что в пансионе завязалась длительная дружба Александра Карловича с поэтом В.А. Жуковским: тот "по своей

бедности” получал вспоможение от родной бабушки Бошняка, Марии Семеновны Аже, которую по признательности во всю свою жизнь называл матерью. Когда же Василий Андреевич узнал о кончине Александра Карловича, то при свидании с Константином Карловичем (братом А.К. — В.Б.) сказал: “Ты будешь отныне на его месте моим братом”. Другим близким знакомым Бошняка с тех пор был земляк — костромич, впоследствии известный писатель и издатель, Павел Петрович Свинып, готовно печатавший в своем журнале “Отечественные записки” его прозаические опусы и научные статьи.

В 1804 году нерехтчанин был выпущен из Благородного пансиона и, получив незадолго перед тем лестный и высокий для 17-летнего юнца чин коллежского асессора, начал действительную службу в Московском архиве Коллегии иностранных дел. Служил он “с похвальной тщательностью” под руководством крупного археографа А.Ф. Малиновского, но “архивного юношу” больше волнуют не древние хартии. Его серьезность и наклонность к научным занятиям обратили на себя внимание ученых и писателей и раскрыли перед Бошняком двери лучших домов Москвы. “По возвращении из пансиона, — писал в автобиографии поэт П.А. Вяземский, — нашел я у нас Дмитриева, В.Л. Пушкина, юношу Жуковского и других писателей... В ряду литературной молодежи был тут и новичок, которого отличали отец мой и Карамзин. Он даже запросто обедал у нас: в то время это было исключением. В старину обедали семейно... Имени новичка нашего в точности не помню, чуть не Бошняк ли?.. Как бы то ни было, он занимался естественными науками, в особенности монографиею паука”.

Общение с И.И. Дмитриевым, В.Л. Пушкиным и т. д. уже тогда, по-видимому, пробудило у Александра Карловича желание испытать свои силы в литературе. Однако это намерение пришлось отложить. Шла война с наполеоновской Францией. Общй патриотический подъем захватил и мирного доселе архивиста: в

январе 1807 года он вступает в земское ополчение и посылается в Вятку для формирования “артиллерийского парка”. После подписания Тильзитского мира и роспуска ополчения новоявленный артиллерист возвращается на гражданскую службу, но не в Московский архив (занятия историей его все-таки не увлекли), а в Петербург, сначала чиновником Департамента внутренних дел, а затем Главного правления мануфактур. Петербургский влажный климат оказался вреден для здоровья Бошняка — он тяжело заболел, но настоянию врачей вышел с чином коллежского советника в отставку и в 1810 году вновь поселился в нерехтской усадьбе Савиково. Там Александр Карлович посвящает свой досуг прилежным занятиям ботаникой, которой он интересовался с юности, сумев приобрести глубокие познания. В усадьбе он собрал большую ботаническую библиотеку, выписывая все новинки и специальные периодические издания на разных языках.

Начавшаяся летом 1812 года Отечественная война на время отвлекла ботаника от изучения флоры костромского края. В чине майора он вступает в конный полк Костромского ополчения, обучая неопытных ратников искусству верховой езды, неудачно упал с лошади, сломав правую руку. Из-за этого, когда ополчение получило приказ о выступлении к западной границе, Бошняк вынужден был оставаться в Савиково.

В 1814 году нерехтчанину досталось после дальнего родственника населенное имение на юге России, в Причерноморье. Получение наследства было сопряжено с хлопотной выправкой многочисленных юридических документов в присутственных местах различных губерний, что понудило Александра Карловича предпринять поездку по обширной Российской империи. Путешественник в апреле 1815 года выехал из Нерехты и через Москву, Смоленск, Витебск, Митаву, Вильно, Минск и Киев добрался до Херсонской губернии, откуда вернулся на родину. В пути он воочию наблюдал следы недавнего наполеоновского нашествия: города и села в руинах, доведенных до

нищеты жителей и т. п. Свои впечатления он описал в сочинении, длинно названном “Дневные записки путешествия Александра Бошняка в разные области западной и полуденной России в 1815 году”, изданном в двух частях в Москве в 1820-21 годах. В художественном отношении записки свидетельствуют о литературной неопытности автора и уступают современным им творениям в том же жанре Федора Глинки, Измайлова и князя Шаликова, зато их выгодно оттеняют большие познания и острая наблюдательность сочинителя. Это наполовину и научный труд, в котором в популярной форме и вместе с тем точно определяется и характеризуется окружающая фауна и флора, в частности, придорожная растительность. Одновременно книга Бошняка является историческим источником, сохранившим свою ценность до сих пор, поскольку в ней зафиксировано свидетельство очевидца о состоянии разоренных западнорусских областей после изгнания Наполеона.

В 1816 году Александр Карлович, владевший в Нерехтском уезде 197 “душами” крестьян, избирается уездным предводителем дворянства (через три года он баллотировался на второй срок) — должность почетная и не обремененная обязанностями. У него оставалось довольно много времени для ботанических изысканий, в которых он достиг немалых успехов, а также завел переписку с некоторыми крупными учеными, рекомендовавшими его в действительные члены Московского общества испытателей природы.

Не отказываясь Бошняк и от занятий литературой. В 1817 году он, живя в Савикове, трудится над “нравственным” романом “Торжество воспитания, или Исправленный муж”. Это был образчик массовой моралистической прозы, созданной в духе устаревших к тому времени канонов сатирического педагогического романа. Замысел сочинения — “показать в сильных красках пользу образования девиц” — раскрывается в форме писем, которыми обмениваются положительные и отрицательные герои. Действие

первоначально разворачивается в Костромской губернии (она прямо не показана, но легко угадывается), а в финале переносится под Смоленск, где героев застает вторжение Наполеона. При этом часть отрицательных персонажей впадает в раскаяние и исправляется, тех же, кто мешает встать на путь праведный, жестоко карает рок.

Интересна судьба романа. Он был опубликован в “Отечественных записках” за 1821-1822 и затем в 1828-1829 годы без указания имени автора, что было заурядным явлением для журнала П.П. Свиньина (так же анонимно там, например, напечатана повесть Н.В. Гоголя “Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купалы”). Однако в 1830 году в Москве продается отдельное издание романа под заглавием “Торжество воспитания, или Исправленный супруг” уже как “сочинение П.П. Свиньина”, который вскоре переиздал его под другим названием “Ягуб Скупалов, или Исправленный муж”.

Целый ряд фактов подтверждает все-таки авторство Бошняка. Это категорически подчеркивает М.Я. Диев, в приходе которого находилось Савиково: он сам наблюдал, как Александр Карлович работал над романом. Содержание произведения тоже позволяет выявить личность автора. Свиньин был уроженец и житель Галичского уезда, а действие в “Торжестве воспитания” происходит в Нерехтском: Галич не пересекает река, по Нерехте же, как в романе, течет река Солоница, село Мильманы с ярмаркой — нерехтское ярмарочное село Арменки, село Неведово — соседнее с усадьбой Бошняка Неверово и т. д. В конце романа события передвигаются в Смоленскую губернию, где Бошняк побывал в 1815 году, а Свиньин до 1821 года не был. Герой произведения Александр Сергеевич Любосердов — предводитель дворянства и увлекается “комарами да цветочками”, что имеет отношение к Бошняку, зато никакого — к Свиньину.

Наконец, и сама литературная репутация П.П. Свиньина говорит против него: общеизвестно, что он имел привычку присваивать чужие

произведения. Впрочем, в данном случае речь идет скорее не о краже, а о соучастии: Свиньин, вероятнее всего, отредактировал и дополнил роман, особенно во второй редакции. Возможно, готовя отдельное издание и надеясь на его успех у читателей, Павел Петрович просто купил “Ягуба Скупалова” у Бошняка, тогда уже охладевшего к литературному творчеству.

Как бы то ни было, такие крупные знатоки литературы пушкинской поры, как: В.В. Вересаев, Б.М. Модзалевский и В.В. Гиппиус — считают автором романа А.К. Бошняка.

В 1820 году в жизни Александра Карловича произошел крутой перелом, он переселился в усадьбу Катериновка Херсонской губернии: врачи рекомендовали южный климат болезненному нерехтчанину, и новое имение требовало хозяйского присмотра.

Первые годы жизни на юге Бошняк занимается хозяйственными делами и изучением растительного мира Новороссии, значительно отличавшегося от флоры среднерусской полосы. Он вступает в ученую переписку с известным естествоиспытателем Ф.К. Маршалль фон Биберштейном и составляет каталог растений Херсонской губернии...

Катериновка находилась поблизости от города Елизаветграда — резиденции начальника военных поселений юга России и командующего 3-м резервным кавалерийским корпусом генерал-лейтенанта И.О. Витта. Этот фаворит Александра I заслужил единодушное осуждение и современников, и потомков. Даже великий князь Константин Павлович в 1825 году писал, что Витт “такой непогодий, каких свет еще не производил: религия, закон, честность для него не существуют. Словом, это человек, как говорят французы, достойный виселицы”. Видный сановник А. Ланжерон недоумевал: “Абсолютное доверие, которым почтил Витта император Александр, его, если можно так выразиться, слепота насчет Витта (если только это доверие не было основано на необходимости, которую император испытывал в нем) — все это было настолько удивительно, что все



окружающие государя и вся армия испытывали к Витту ненависть”.

А советский исследователь Н.Я. Эйдельман подытоживает: “Это интриган, умеющий надеть любую маску, прославленный дон-жуан, вкрадчивый карьерист, крупный мастер сыска и провокаций”.

При Александре I Витт фактически возглавлял политический сыск в России. “Покойный государь, — объяснял он, — удостоивал меня вполне своего доверия; еще с 1809 года и до последней минуты своей жизни возлагал на меня поручения особенной важности, поручения, большей частью никому, кроме Его Величества и меня, неизвестные; что по сим поручениям я имел счастье прямо доносить Его Императорскому Величеству, и что ни от кого, кроме как лично от самого покойного государя, об известных ему предметах я не получал ни наставлений, ни разрешений”.

Естественно, что в такой ситуации именно к Витту поступили сведения о существовании в России тайного общества и имена некоторых его членов. Однако человек без убеждений и принципов, он отнюдь не спешил проинформировать императора, выясняя, имеет ли Общество реальные шансы произвести государственный переворот и не выгоднее ли примкнуть к нему? Интересовало генерала и то, нельзя ли использовать Общество для свержения всеильного временщика А.А. Аракчеева, с которым он враждовал? Для получения нужных сведений и установления контактов с главными заговорщиками Витт решил заслать в тайное Общество своего агента. На эту роль проницательный обер-сыщик и наметил Бошняка, с которым он успел хорошо познакомиться.

Выбор, конечно, был тщательно продуман. Питомец Благородного пансиона, широко образованный, с большим числом знакомств и хорошими манерами, литератор и ученый, Александр Карлович был человеком “одного круга” с декабристами и легко мог добиться их доверия. Но вся прошлая жизнь Бошняка, его доселе незапятнанная репутация, политические убеждения (он сам рассказывал, что в



Костроме “часто публично сопротивлялся мерам правительства”) побуждали его с негодованием отвергнуть предложение. И вместо этого Бошняк в апреле 1825 года дает согласие стать агентом Витта.

Граф откровенничал позднее, что вынудил действительно “склонявшегося к вольнодумству” Бошняка согласиться на сотрудничество, прибегнув к шантажу и лести. Возможно, тот не сразу понял, что ему предназначается роль провокатора, а не доверенного посредника, как бы парламентаря. Во всяком случае, именно так трактовал свою миссию Александр Карлович, завязывая сношения с тайным обществом и сразу предупреждая, что действует по прямому поручению Витта. Да и сами декабристы отлично знали о его близости к последнему: “Часто по целому месяцу с графом не разлучается и живет у него в доме”, — показывал на следствии В.Н. Лихарев. Напомним, что Витт через много лет признавался, что “вначале собирался примкнуть к заговору”, полагая, что речь идет об очередном дворцовом перевороте, так как неприязнь всемогущего Аракчеева делала положение Витта непрочным.

Можно назвать еще один мотив поведения Бошняка: он стремился занять более видное место на авансцене истории. “При его образованности, уме и жажде деятельности помещичий быт представлял ему круг слишком тесный. Он хотел вырваться на обширное поприще и ошибся”, — писал С.Г. Волконский.

Поручая Бошняку “рассеять мрак, которым окружают себя злодеи”, Витт назвал ему подпоручика В.Н. Лихарева и отставного полковника В.А. Давыдова. С первым Александр Карлович был знаком с 1823 года, находился с ним в дальнем свойстве и, сльвя среди декабристов за “человека умного и ловкого и принявшего вид передового лица по политическим мнениям”, сумел добиться его доверия. Однако Лихарев знал о тайном обществе слишком мало, и Бошняк переключил свое внимание на Давыдова, живущего в усадьбе Каменка Киевской губернии, сравнительно недалеко от



Катериновки. Из показаний Давыдова Следственному комитету явствует, что агент Витта вел себя весьма откровенно: "...объявил мне, что графу Витту Общество давно известно, что и поездку его ко мне он знает, предлагает войти в Общество, обещает возмутить поселения... несколько раз Бошняк приезжал, требовал объяснений, открытий, и все будто бы от графа Витта, настаивал на начале действий... Я не знал, что думать о сем, то полагал его чистосердечным, то агентом графа Витта и полиции, но держался более сего последнего мнения... старался избегать с ним свидания". И в других показаниях: "Я его боялся и не знал, что делать и говорить".

Стараясь избавиться от подозрительного визитера, Давыдов уговаривает его вернуться на родину. "Уговаривал меня, — сообщал Бошняк, — ехать в Костромскую губернию для заведения там нового гнезда заговорщиков".

Первое донесение для Витта агент составил в мае 1825 года, за ним последовали другие. Однако складывается впечатление, что навязанное ему поручение Бошняк выполнял неохотно и с нарочитой неловкостью. Он не пытался расширить круг известных ему членов тайного общества и в записке в Следственный комитет уточнял: "Я сообщал здесь только те сведения, которые получил через Лихарева и Давыдова", тогда как и тот, и другой его остерегались. А уже летом 1825 года Александр Карлович, ссылаясь на выражаемое ему декабристами недоверие и под предлогом тяжелой болезни, прекращает все сношения с Обществом. К тому времени и Витт, проинформированный Бошняком, что целью заговорщиков является цареубийство и провозглашение республики, понял, что ему не по пути с Обществом и что дальнейшие заигрывания с ним становятся опасны. Недаром во время следствия над декабристами от того же Давыдова требовали объяснений "с подробностью" по поводу предложения Витта вступить в Общество и "чем дело кончилось?" В вопросе сквозит недоверие к действиям Витта. Правда, тот



успел перестраховаться, сообщив при свидании в Таганроге 16 октября 1825 года Александру I о существовании тайного общества и его целях и подчеркнув, что “бывают часто собрания в фамилии Давыдовых, кои все заражены сим духом”. Надо только иметь в виду, что у Витта был не один осведомитель: “Вероятно, граф Витт имел и других, кроме меня, агентов, — показывал на следствии Бошняк, — и может быть, снабжен по предмету открытого мною заговора и еще некоторыми добавочными сведениями”.

По-видимому, дальше, чем пытался внушить Следственному комитету, зашел в сношениях с тайным обществом и Бошняк. Хотя Лихарев называл его “человеком суровой наружности и в речах весьма осторожным”, однако, раздосадованный показаниями Александра Карловича, пригрозил: “Я бы мог привести в заключение некоторые обстоятельства, которые бы преданность (правительству. — В.Б.) господина Бошняка могли бы сделать сомнительною”. К сожалению, следствие не заинтересовалось намеком. О том, что “осторожность” иногда изменяла Бошняку, свидетельствует и С.Г. Волконский.

17 января 1826 года заседавший в столице Следственный комитет считал нужным приезд Бошняка в Петербург для дачи показаний. Тот вовсе не торопился с отъездом (напротив, граф Витт усиленно просится в столицу) — только в марте он очутился на берегах Невы. Улики против большинства декабристов были уже собраны; в записке, представленной Александром Карловичем 25 марта, не сообщалось ни новых фактов, ни новых имен. Даже на судьбе Лихарева и В.Л. Давыдова показания агента Витта отразились мало; куда губительнее для них стали признания Поджио и Муравьевых.

Бошняку надо было доказать Следственному комитету, что загрызания при его посредничестве графа Витта с тайным обществом имели чисто охранительный характер, и тем обелить себя и патрона. Данной цели он достиг: комитет признал “благоразумие и осторожность” его действий, а в мае 1826 года был разрешен приезд в Петербург и графу Витту.



Анализ совокупности фактов позволяет сделать вывод, что роль Бошняка в раскрытии тайного общества была незначительной, а действия — неловкими и нерешительными. Между тем за Александром Карловичем утвердилась репутация матерого шпиона, постоянно выполняющего на юге различные задания Витта. Этой репутацией он обязан польскому поэту Адаму Мицкевичу.

В 1842 году, выступая в Париже с лекцией и касаясь восстания декабристов, Мицкевич заявил:

“Граф Витт уже имел сведения о существовании заговора от одного из своих агентов, фамилию которого я назову, так как она не упоминается ни в одном из официальных документов, ни в одной истории, от некоего Бошняка, предателя, шпиона более ловкого, нежели все известные герон этого рода в романах Кунера. Этот Бошняк, литератор, всюду сопровождал графа Витта под видом натуралиста. Он хорошо говорил чуть ли не на всех языках, сумел втереться в разные тайные общества, и он сообщал графу Витту секретные сведения о заговоре”.

Имя Бошняка к 1842 году было достаточно известно как предателя декабристов. Но воображение завлекло поэта слишком далеко: он принял прозаичного ботаника за куперовского Гарри Берча. По-видимому, Мицкевич предполагал, что Бошняк шпионил и за ним самим. Он прибыл в Одессу в марте 1825 года, по пути представившись в Елизаветграде графу Витту. Тогда же он мог познакомиться и с Александром Карловичем (если они вообще были знакомы). Проживая в Одессе до ноября 1825 года, польский поэт сблизился с К.Собаньской, фавориткой и агентом графа Витта. По утверждению исследователя одесского периода его жизни С.Я.Борового, Бошняк тоже “был завсегдагдем салона Собаньской” — они не могли там не встречаться. Правда, возникает недоумение, как ухитрился Бошняк, живший в 1825 году постоянно в Екатериновке, то есть вовсе не близко от Одессы, и подолгу в



Елизаветграде, быть одновременно и завсегдаем одесского салона? А факты, на которые ссылается сам С.Я. Боровой как на бесспорное доказательство слежки, лишь усиливают сомнения. С 17 августа Мицкевич в составе свиты Витта и Собаньской участвует в их двухмесячной поездке в Крым. Дочь поэта Мария впоследствии рассказывала: “К обществу, в котором было несколько дам, присоединился какой-то ученый немец, энтомолог, чрезвычайно скромный и незаметный, перяпливо одетый, в очках, на которого никто не обращал внимания. Быстро завязалось знакомство между ним и двумя поляками; беседовали о разном”. Через две недели по возвращении в Одессу, на обеде у Витта, “отец с удивлением узнал немца, который сменил скромную одежду на парадный мундир с орденами”. А сын писателя Владислав, приведя этот рассказ в “Жизни Адама Мицкевича”, сообщает фамилию “немца” — Бошняк.

Если сама история с “немцем” не придумана А. Мицкевичем либо его дочерью, то следует констатировать, что пресловутый “немец” не Бошняк (кстати, он, смуглый и черповолосый внук грека, менее всего походил на немца), К. Собаньская, перечисляя участников путешествия в Крым, Бошняка не называет, сам же он в показаниях Следственному комитету сообщал, что в это время был тяжело болен. Приметы “немца” тоже не соответствуют облику Александра Карловича, отличавшегося, по словам А. Мицкевича, “хорошими манерами”, а не “перяпливостью”. Не мог поэт встретить своего соглядатая и в “парадном мундире с орденами”: тот, находясь в 1825 году в отставке, не был вправе носить мундир и не имел тогда ни одного ордена.

В ноябре 1825 года Мицкевич покинул Одессу и с Бошняком больше не встречался. Складывается впечатление, что поэт знал о нем только понаслышке. “Этот Бошняк, — писал он, — литератор, натуралист, многократно осужденный за всякие провинности и преступления, потом выпущенный на свободу и получивший в секретном порядке чин коллежского ассессора и генерала...” Стоит



ли уточнять, что Бошняк никогда не осуждался, чин коллежского ассессора получил в 1803 году, а до генерала так и не дослужился.

Современный пушкинист М. Яншин, изучив материалы, делает вывод: “Нет прямых доказательств слежки за Мицкевичем со стороны осведомителя Витта Бошняка”. Полагаем, что можно сказать определеннее: Бошняк за Мицкевичем не шпионил...

Опущенный Следственным комитетом, Александр Карлович весну и лето 1826 года провел в Петербурге, усердно посещая музеи и кабинеты Академии наук. В журнале “Отечественные записки” публикуется его статья о ботанических садах в России. Однако судьба в лице находящегося тогда в столице графа Витта готовит ему новую роль — решение участи Пушкина.

В правительство поступил донос, что ссыльный поэт пытается “возмутить” окрестных крестьян. Донос был анонимный, тем не менее царские власти, напуганные восстанием декабристов и относящиеся с сильным подозрением к Пушкину, не решились оставить его без разбирательства, а сочли необходимым послать в Псковскую губернию своего эмиссара, наделенного большими полномочиями. Наиболее подходящей кандидатурой был А.К. Бошняк.

Он, по всей вероятности, встречался с Пушкиным еще в Одессе, например, у той же К. Собашьской, но не относился к числу поклонников великого поэта. “Дядя... — вспоминал его племянник К.К. Бошняк, — признавался моему отцу, что поэзия входившего тогда в славу Пушкина ему вовсе не нравится, но что он принужден восхвалять его, так как кругом его расточаются похвалы явившемуся поэту”.

Был, однако, человек, который их связывал: В.А. Жуковский. Близкий друг и покровитель Пушкина, Василий Андреевич сохранял и приятельские отношения с однокашником по Благородному пансиону. “Я почти год был вместе с Жуковским, — писал в 1816 году Бошняку их общий знакомый В.И. Губарев, — часто говорили про тебя, и Жуковский уверен, что ты будешь русским Бюффоном”.

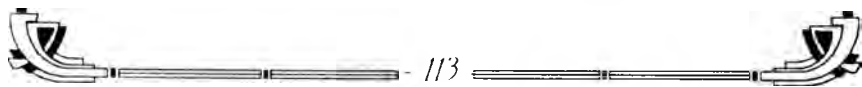


Имя костромича встречается нам и в дневниках Жуковского. Дорожа добрыми отношениями с ним, Александр Карлович, конечно, не мог не понимать, что их дальнейшее сохранение во многом будет зависеть от его поведения во время командировки в Псковскую губернию и ее результатов.

Перед отъездом Бошняк был официально запрошен, какую награду желает получить он за выполнение поручения по делу декабристов. Как докладывал императору дежурный генерал Главного штаба, Бошняк “желает получить денежное вознаграждение, быть принятым в службу коллежским советником в иностранной коллегии, с тем, чтобы находиться при генерал-лейтенанте Витте”. 15 июля 1826 года Николай I изъявил на это свое согласие. Несколько позднее Бошняк получил орден Анны 2-й степени с алмазами.

19 июля Александр Карлович выехал из Петербурга. В составленном для Витта отчете о поездке он писал: “Целью моего отправления в Псковскую губернию было, сколь возможно, тайное и обстоятельное исследование поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к вольности крестьян, и в арестовании его и отправлении куда следует, буде бы он оказался действительно виновным”. Вместе с ним ехал фельдъегерь с “открытым предписанием”, данным “для взятия и доставления по назначению, в случае надобности, при опечатании и забрании бумаг одного чиновника, в Псковской губернии находящегося, о коем имеет объявить при самом его арестовании”.

20 июля Бошняк прибыл в город Порхов, а затем под видом ботаника, собирая по пути придорожные растения, отправился в Новоржев (фельдъегеря он оставил на станции Бежаницы). Там он приступил к опросу и сбору сведений о том, распространяет ли Пушкин антиправительственные “слухи”, “возбуждал” ли крестьян к “вольности”, сочинял ли “возмутительные песни”? Бошняк с этой целью беседует с содержателем Новоржевской гостиницы Д.С.



Катосовым, уездным судьей Д.Н. Толстым, вишним смотрителем Трояновским, заседателем П.Я. Чихачевым, бывшим губернским предводителем дворянства А.И. Львовым, святогорским игуменом Ионой и отставным генералом П.С. Пуциным. Расспрашивал он и крестьян в Святых Горах и в удельной деревне Губино.

Агент собрал кое-какие факты, по-своему обрисовывающие образ мыслей и поведение ссыльного поэта: "...дружески обходился с крестьянами и брал за руку знакомых, здороваясь с ними", "иногда ездит верхом и, достигнув цели своего путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу". Предположим, что эти факты в чистом виде недостаточно весомы в глазах правительства для ареста знаменитого поэта, но их так легко тенденциозно истолковать! Бошняк на это не пошел. Он будто бы непредвзято и наивно передает рассказы соседей Пушкина и здешних крестьян: один из последних, И.Н. Столяров, заверял, что поэт "ведет себя весьма просто и никого не обижает", а по словам Ионы, михайловские крестьяне "не могут нахвалиться своим барином".

На вопрос, не "возмущает" ли Пушкин крестьян, все опрошенные дали отрицательный ответ, ссылаясь на замкнутый образ жизни поэта, хотя это, казалось бы, противоречило их показаниям. Бросается в глаза, что Бошняк обратился с расспросами лишь к тем, кто относился к Пушкину доброжелательно либо, на худой конец, нейтрально. Трудно поверить, что среди местных помещиков, чиновников и духовенства не нашлось бы врагов опального поэта — видимо, Александр Карлович объехал их стороной. Все это позволило ему сделать вывод, что Пушкин "не действует решительно к возмущению крестьян" и потому не подлежит аресту. 24 июля 1826 года он заканчивает расследование и, заехав за фельдшером, отправляется в Москву, где находился тогда император.

В Москве Бошняк представил отчет о своей поездке. 7 августа



1826 года Николай I читал этот отчет. “Несомненно, — считает Н.Я. Эйдельман, — что на полях остались какие-то пометки, решавшие судьбу ссыльного поэта” (по царскому указанию документ вскоре был уничтожен, но сохранился его черновик).

Так случилось, что в течение нескольких дней судьба Пушкина оказалась в руках Бошняка. “Судьба Пушкина снова была на волоске... в случае ареста и привоза в столицу, возможно, были бы разные повороты судьбы”, — заключает современный исследователь. Мы далеки от намерения обелять поведение Бошняка, но в “деле Пушкина” упрекнуть его, думается, не за что.

Сам поэт в 20-х числах июля находился не в Михайловском, а в Пскове, где договаривался с инспектором врачебной управы В.И. Всеволодовым о выдаче медицинского заключения о болезни. По мнению его первого биографа П.В. Анненкова, Пушкин знал о командировке Бошняка.

Судьба уже больше не сводила их. Вызванный из ссылки, поэт 8 сентября был привезен в Москву и сразу имел свидание с императором, даровавшим ему “прощение” (свою роль сыграл и отчет Бошняка), но Александр Карлович в то время обретался у брата в перехтской усадьбе. К концу 1826 года он возвращается в Елизаветград, где занимает официальную должность чиновника особых поручений при графе Витте. В Русско-турецкую войну 1828-1829 годов Бошняк служил с чином статского советника при штабе Витта в Дунайских княжествах, с марта 1829 по апрель 1830 года является вице-председателем Молдаво-Валахского дивана (правительства). После начала в 1830 году польского восстания корпус Витта (при котором был и Бошняк) был направлен в Польшу. Неудачное сражение под Баром в 1831 году привело к поспешному отступлению русских войск, при этом тяжело заболевший Александр Карлович остался в Баре и там вскоре скончался.

Личность Бошняка была загадочной для его современников, такой осталась она и для потомков.

# Певец



**В** первой половине прошлого века человек, не окончивший официального учебного заведения, не состоявший на государственной службе и не поддерживающий регулярную переписку с родственниками и друзьями, рисковал, даже если он был личностью достаточно известной, остаться без биографии или с зияющими в ней дырами из-за отсутствия документальных источников. А коль скоро этот человек еще родился и крепостным крестьянином, то все сведения о нем, как правило, ограничиваются скудными записями в ревизских сказках.

Именно ревизская сказка засвидетельствовала, что в деревне Славистово Чухломского уезда, принадлежавшей Петру Ивановичу Юшкову, родился в 1792 году (число и месяц в записи опускались) у крепостного крестьянина Алексея Иванова мальчик, нареченный Иваном. Ему, вероятнее всего, предназначалась жизнь хлебопашца, гнувшего спину на барском поле и на своей скудной полоске. Но Ване необыкновенно повезло: его владелец, известный богатый Юшков, питалмейстер при императорском дворе, был страстным меломаном, тратившим на увлечение музыкой огромные средства. Он никогда

не бывал в Славистове, но тамошний приказчик знал, что лучше всего может пострадать барину, донеся, что в числе его мужиков завелся один, отличавшийся музыкальными способностями. А по округе уже гуляла молва, что в приходском храме поет мальчик с великолепным голосом и слухом.

Получив донесение из чухломской деревни, Петр Иванович Юшков распорядился доставить Ваню Рупина к себе в Москву. Его, правда, разочаровала неказистая фигурка подростка, зато привел в восхищение чистый альт чухломича и абсолютный музыкальный слух. Юшков имел в Москве домашний оркестр и хор, составленный из дворовых, — туда и был определен Иван. В хоре он выделялся отлично-звучным голосом и страстью к пению, и хозяин-меценат приказал на первых порах обучать его церковному пению.

Поразительные успехи Рупина побудили Юшкова позаботиться о настоящем музыкальном образовании для своего крепостного певца. В начале 1800-х годов лучшим преподавателем вокального искусства считался итальянец Мускети, в прошлом сам прославленный певец. У него была разработана собственная система преподавания: сначала он развивал посредством специальных физических упражнений внешние данные ученика, затем приучал его к чистому и ясному произношению, наконец, придавал голосу обучаемого певца гибкость, быстроту и продолжительность, а звуку — силу и выразительность.

В течение двух лет Мускети ежедневно занимался с Рупиным, получая с Юшкова за каждый урок огромную по тем временам сумму — 25 рублей ассигнациями. Но зато он сумел развить природное дарование ученика, подготовив замечательного певца; тот был особенно неподражаем при исполнении произведений Дм. Бортнянского.

Иван Алексеевич любил позднее вспоминать о своем первом публичном выступлении. В 1810 году Мускети отмечал свое 50-



летие. На праздничный обед юбиляр пригласил московских артистов, художников, вельмож. Когда обед уже закапчивался, по зову хозяина к гостям вышел худощавый и невысокий молодой человек с темно-русскими волосами. Muskети предложил ему спеть экзерциции Кресченгети № 12 — труднейшее упражнение для любого певца. Присутствующих очаровал голос юноши — чистый нежный альт. Все сложные вариации, колоратуры, трели были исполнены с блеском и искусством. Пение Руфина вызвало всеобщий восторг и похвалы.

Muskети посоветовал ученику изменить свою русскую фамилию так, чтобы его принимали за итальянца, которые в тогдашней России больше, нежели сами русские, преуспевали в музыке: не Руфин, а Рупини. Этой фамилией с добавленным окончанием чухломич пользовался в течение всей жизни.

Когда Рупин закончил обучение пению, ему было 18 лет. Он решил поселиться в Петербурге и стать оперным певцом. Петр Иванович Юшков, один из просвещенных и гуманных людей того времени, отпустил Рупина на волю.

Однако северная столица встретила молодого певца неласково. К тому же с возмужанием у него меняется голос — альт перешел в тенор, тогда как оперный театр недостатка в тенорах не испытывал. Иван Алексеевич все же попал на прием к высокопоставленному театральному чиновнику, от которого зависел прием его в оперу. Тот, привыкнув к тому, что на оперной сцене выступают осанистые и дородные артисты, с пренебрежением посмотрел на невзрачного посетителя: “Какой из тебя оперный певец? В тебе ни роста, ни дородства!” — “Рекомендую тогда для оперы тульского звонаря (звонаря, человека огромного роста, показывали тогда за деньги на ярмарках)”, — не сдержался Рупин, и был тотчас выгнан. Он не оставил своего намерения и, по протекции Юшкова, получил роль Ромео в опере Зингарелли “Ромео и Джульетта”, специально поставленной для него не в казенном, а в домашнем театре одного из



петербургских вельмож. Дебют привлек множество зрителей, но закончился полным провалом: обряженный в берет и мантию, дебютант действительно выглядел смешным, вдобавок, впервые выйдя на сцену, он по неловкости споткнулся и упал, вызвав в зале гомерический хохот — представление пришлось прервать...

Неудача не сломила Ивана Алексеевича. Видя, что доступ на сцену для него закрыт, он решил посвятить себя музыке. Для этого молодому чухломичу надо было сначала ликвидировать пробелы в собственном образовании, ведь его готовили для церковного и камерного пения, музыке же специально не обучали. Однако он понял, что прежде всего должен научиться аккомпанировать, а также овладеть законами сочетания звуков и перехода из тона в тон. На первые заработанные деньги он купил фортепиано, играл на нем целыми часами. Рупин подружился с известным тогда композитором Т. Жучковским, тот стал учить его правилам гармонии и контрапункта. Через несколько лет упорной и напряженной учебы Иван Алексеевич превратился во вполне подготовленного музыканта.

Чтобы содержать себя, Рупин начал давать уроки пения и музыки. Он проявил себя как незаурядный педагог, исключительно добросовестный, доброжелательный, терпеливый, умеющий подобрать к каждому ученику свой "ключик" и владеющий даром втолковать содержание занятия самым ленивым тупицам. Иван Алексеевич снискал известность как лучший учитель музыки в Петербурге — от учеников у него не было отбоя. В доме появился достаток. Гостеприимный хозяин стал устраивать у себя званые вечера, главным украшением которых были песни, замечательно исполняемые Рупиным под гитару. Еще с ранних лет он запомнил огромное множество русских народных песен и мелодий. Сознывая их непреходящую ценность для отечественной культуры, он решил записать народные мотивы без нарушения их простоты и музыкальной конструкции.



В 1831 году чухломич издает первую тетрадь своего сборника “Русские песни”. Издание имело успех и вызвало общее одобрение. В 1833 была опубликована вторая тетрадь. Особую же популярность приобрела третья тетрадь “Русских песен”, изданная в 1836 году. Скоро вся Россия пела его песни, положенные на один голос, с вариациями и фортепианным аккомпанементом: “Я по цветикам ходила, по лазоревым гуляла”, “Голубчик, голубчик, голубчик ты мой” и др. Главное их достоинство — сохранение чистоты народного напева. Вариации этих песен отличаются необыкновенной близостью к переливам голоса народных мелодий.

Вполне возможно, что Пушкин познакомился с Иваном Алексеевичем вскоре после окончания Лицея. После возвращения поэта из ссылки их приятельное знакомство возобновилось. Об этом свидетельствует театральный деятель той поры Ф. Коши: “Характер и мастерство Руфина сблизили с ним довольно тесно многих лучших наших поэтов и литераторов: сперва Пушкина, Дельвига, Туманского и некоторых других, а впоследствии Полевого, Струговщикова, Якубовича, С. Глинку и Ф. Коши. Дом его, некогда полная чаша, был всегда открыт для друзей, и он любил блеснуть московским гостеприимством и радушием. Каждый вечер вы могли встретить у него тесный кружок литераторов, любителей музыки и артистов. Тут же иногда писались слова песен и романсов, тут же их клали на музыку и исполняли. Лучшие русские песни и лирические стихотворения барона Дельвига родились в минуту увлечения на рояле Ивана Алексеевича Руфина и им положены на музыку. Умная, добрая и приветливая жена Ивана Алексеевича умела оживить беседу своей непринужденной веселостью, простым и милым обхождением и придавала еще более очарования этим литературно-музыкальным вечерам”.

Такое тесное творческое содружество композитора с



выдающимися русскими поэтами было закреплено в 1832 году, когда Рупин издал сборник обработанных им романсов А.А. Лябьева на слова А.С. Пушкина "Северный певец". Он и в дальнейшем постоянно обращался к пушкинским текстам. Так в 1839 году в сборнике "Букет" композитор поместил свой романс "Жил на свете рыцарь бедный".

Рупина вообще отличало превосходное знание современной поэзии и тонкий литературный вкус: безошибочно избранные им и положенные на музыку новые стихи тотчас становились народными песнями. Рупин выпустил отдельным изданием свою песню на слова И.И. Козлова "Как вечер молода-молоденька". Им созданы романсы на стихи Полежаева ("Не припадай ко мне на грудь"), Ф. Кони ("Горит вся грудь моя в огне"), С. Глинки (цикл "Русское ура") и др.

Творческое наследие композитора велико: до 50 романсов, кантат, песен и т. д., многие из которых пользовались широкой известностью. Достаточно, например, только назвать его романсы: "Кого-то нет", "Нет, обманула вас молва", "Дружба", "Не цвета небесного очи твои", "Бокал", "Тебя здесь нет", "Не улыбайся так приветливо", "И нет в мире очей".

Однако подлинной стихией чухломича была песня. В крепостной деревне, откуда происходил Иван Алексеевич, именно песня являлась наиболее ярким откровенным выражением состояния радости и горя. Песня сопутствовала Рупину всю жизнь: великолепный знаток и певец, он одновременно был и ее вдохновенным творцом. Недаром созданные им песни стали исключительно популярными, проникли в самую гущу народных масс. Это прежде всего "Вот мчится тройка удалая", "Ох, не одна в поле дороженька", "Не белы снега". Впрочем, России полюбились и такие песни Рупина, как: "Одинокое месяц плыл", "Приди, приди на этот луг", "Я не знала ни о чем на свете тужить", "Кольцо", "Что, соловушка, запеваешь ты" и др. Каждой из этих песен он придавал свойственный ей одной колорит.

Авторы текстов большинства русских песен оставались неизвестными — “слова народные”. Но во всех ли случаях это так? Можно предположить, что слова некоторых песен принадлежат самому Ивану Алексеевичу: у него были поэтические способности. Ведь данные песни до издания их Рупиным вовсе не были известны.

Активная творческая деятельность композитора прервалась внезапно. В 1840 году он потерял горячо любимую им жену и затосковал. Рупин утратил интерес к жизни, впал в апатию, часами безучастно сидел у окна. Прежде исключительно добросовестный преподаватель, он стал манкировать уроками, пропускать занятия или появляться на них нетрезвым. Через какое-то время Иван Алексеевич лишился всех своих учеников и начал сильно нуждаться. Прежние друзья, чтобы как-то помочь, в 1843 году устроили его на незавидную и хлопотную должность учителя хоров в Итальянской опере. Рупин свыкся с этим местом и ничего другого не желал.

Веселые литературно-музыкальные вечера отошли в область преданий, к тому же ни Дельвига, ни Пушкина, общение с которыми так вдохновляло композитора, давно не было в живых. Сам он изредка еще навещал некоторых старых приятелей. Чаще других бывал он у драматурга и издателя Ф.А. Кони, где его особенно ценили и привечали. “Это был ребенок в сединах”, — вспоминал Кони. Федор Алексеевич настойчиво уговаривал Рупина вернуться к музыкальной деятельности и к сочинению песен, тот вместо ответа лишь грустно улыбался. Однажды, в 1848 году, Иван Алексеевич, придя к Кони, протянул хозяину листок бумаги. На нем было написано:

### *ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ РУПИНИ*

*И нечего уж мне желать,  
Как чайке осени порою,  
Мечты умчались с весной  
И им назад не прилетать.*



*И некого уж мне встречать:  
Отпировал я пир удалый,  
Я в этом мире запоздалый,  
Уж мне гостей не созывать.*

.....

*И некому меня понять:  
Мои все близкие далеко —  
Они лежат в земле глубоко,  
И мне их больше не видеть.*

Потом Рупин тяжело заболел, последние пять месяцев лежал в постели в своей маленькой квартирке близ церкви Николая Морского. Он скончался 22 марта 1850 года на 58-м году жизни. Проводить гроб на Смоленское кладбище пришли несколько литераторов и артистов...

Так случилось, что об отношениях Пушкина и Рупина сохранилось мало свидетельств. Но достаточно, чтобы установить: Иван Алексеевич приглашал поэта на свои вечера, пел ему русские песни, писал романсы на его стихи.



# Квакер Беверлей



Два столетия назад на 23-й версте по столбовому тракту из уездного города Галича в губернскую Кострому стояло на одноименном болоте сельцо Золотово. По древним преданиям, некогда это было многолюдное селение, но к концу XVIII века оно запустело, от прежних строений осталась лишь деревянная барская усадьба с прилегающими службами, да на месте прежней большой церкви виднелась скромная часовня. В усадьбе жил с многочисленным семейством галичский предводитель дворянства надворный советник Никита Григорьевич Бартенев, где в 1792 году у него родился сын Юрий. Его одного только и занимали старинные золотовские предания.

Никита Григорьевич был человеком "старого закала и строгих правил", однако понимал, что по нынешним временам детей надо учить как следует, и потому отправил десятилетнего сына в Кострому, в частный пансион, когда же в 1804 году открылась гимназия, то перевел туда. Но через год он убедился, что обучение там ведется пока из рук вон скверно, и отвез Юрия в Московский благородный пансион, который



недавно окончили дети соседа — помещика Петра Никитича Свиньина.

В пансионе юный галичанин пробыл всего два года. Но их достало, чтобы дать сильный толчок развитию способного и впечатлительного подростка, чему способствовали отличный подбор профессуры, высокий уровень преподавания, гуманное отношение к воспитанникам.

В октябре 1806 года скончался отец Юрия Никитича и бразды правления семьей взяла в свои руки мать — умная и властная Мария Васильевна, урожденная Колобова. Она рассудила, что обучен сын вполне достаточно, и, забрав его из пансиона, определила на службу писцом Костромского губернского правления.

Он же мечтал об иной будущности. В то время Россия вела непрестанные войны с Францией, Швецией и Турцией, страну охватила общий патриотический подъем. Бартнев, переписывая в канцелярии скучнейшие и длиннейшие предписания о вычinke уездных присутственных мест и т. д., с тоской думал, что то же будет и через двадцать, и через тридцать лет — не лучше ли пасть во славу Отечества, со шпагой в руках на гласисе неприятельской крепости? Он рано, живя вдали от дома, приучился к самостоятельности и умению постоять за себя и сумел вымолить у обычно неуступчивой матушки согласие на поступление в военную службу. В 1809 году семнадцатилетний галичанин уезжает в Петербург. Учиться в кадетском корпусе было уже поздно — он поступает в так называемый “Вологтерский корпус”, готовящий офицеров для армии. В 1811 году Бартнев сдает экзамены “в числе первых” и назначается младшим офицером в артиллерийскую бригаду, расквартированную в Петербурге. Молодой прапорщик много читает, заботится о выработке собственного мировоззрения. Известно, например, что в том же 1811 году он проник к будущему митрополиту Филарету и вел с ним долгую беседу на религиозно-правственные темы. Смелые и оригинальные мысли и эрудиция юноши так поразили ученого монаха, что он уже в 1816 году прислал ему свои “Записки на книгу Бытия”.

Между тем русские войска в ожидании войны с Францией концентрировались на западной границе. В начале июня 1812 года выступила в укрепленный лагерь под городом Дриссой артиллерийская бригада, где в понтонной роте служил Бартенев. В лагере он узнал о начале Отечественной войны.

Война стала для галичанина настоящей эпопеей. Он познал ее, можно сказать, с “изнанки” и, владея даром слова, описал в замечательных письмах к матери. Эти письма, являющиеся ценным и уникальным историческим источником, опубликованы в “Щукинских сборниках” в начале XX века.

Еще в Дрисском лагере понтонная рота Бартенева была переформирована в “Запасной подвижный парк”. От Полоцка парк двигался в обозах русской армии. Войска отступали быстро, громоздкие фуры с казенным имуществом отставали — прапорщик не раз был на волоске от плена. К тому же в обозах свирепствовали эпидемии. “Вся наша рота почти от заразы вымерла”, — сообщал Юрий Никитич матери.

В Можайске парк расформировали, и Бартенев попал в команду “дежурного генерала Кикина”. Что это за служба, он постиг и описал при Бородине, где собирал прямо на поле боя раненых и отправлял их в лазарет: “Совершенный ад: кучи тел, вопли умирающих сопутствуют тебе повсюду — много увидишь без головы, другие без рук и без ног, я видел там и такого, который, быв легко ранен, не мог говорить, потому что рот его был наполнен мозгом убитого возле него солдата. Все почти шевелят губами, и как бы вы думали, о чем они просят, чего им хочется? Они просят добить их до смерти, дабы не чувствовать такого жесточайшего мучения, какое они ощущают... Не боязнь делала для меня место сие столь страшным, она уже совсем исчезла во мне, но мере привычки находиться всегда при армии и слышать только про одних убитых; но картина, представляющая мне все образы смерти и



мучения человечества, потрясала мою внутренность и заставляла меня отвращать очи мои от столь ужаснейшего позорища". Добавим только, что жизнь самого санитаря, подбирающего раненых прямо под пулями и ядрами, находилась в такой же опасности, как и жизнь сражающихся вокруг него солдат.

Наступление зимы принесло Бартеневу новые лишения: "... нередко постеля наша и на снегу, дождь и ненастье покрывалами, целый день идя пешком, ноги промокнул от снега; думаешь отдохнуть от сего труда, но не тут-то было — не в теплую избу придешь осушиваться, но в чистое поле". Однако Юрий Никитич сам удивлялся, как он, человек некрепкого здоровья и легко простужающийся, на войне ни разу ничем не болел.

Он осаждает начальство просьбами о возвращении на первоначальное место службы и, наконец, добивается своего: в мае 1813 года пришел приказ об отправке Бартенева в Могилевскую губернию для формирования роты легкой артиллерии. Он приехал туда в прежнем чине прапорщика и без всяких наград: слишком незаметной была нелегкая служба санитаря.

После окончания войны часть, в которой служил галичанин, дислоцировалась в Риге. Здесь у него выработалась постоянная привычка к чтению (в Риге было много книг), нашлись и собеседники, обсуждавшие с Бартеневым излюбленные им "философские" темы. Серьезный и широкоэрудированный молодой офицер не мог не обратить на себя внимания высшего начальства — в 1816 году его переводят в Петербург преподавателем 2-го кадетского корпуса.

В столице в то время большим влиянием пользовались масонские ложи; многие передовые люди вступали в них в надежде на нравственное самоусовершенствование (масонами были некоторые декабристы). Вскоре после приезда Юрий Никитич тоже вступил в ложу "Умирающего Сфинкса". Он объяснил побудительные причины желанием "более узнать свою ничтожность и падение,

исправить, поелику возможно, нравственные повреждения и более приблизиться к истине". Для Бартенева это были не просто слова — он и в жизни стремился следовать масонским заповедям. На него обратили внимание виднейшие петербургские масоны — князь А.Н. Голицын, Р.А. Кошелев, Ленивецев, приблизившие его к себе. Особенно же он сблизился с известным Александром Федоровичем Лабзиным, которому помогал в издании журнала "Сионский вестник". Бартенева всегда подчеркивал огромное влияние, которое оказал на него Лабзин, "косму, — писал он, — я обязан своим новым рождением", а жену Лабзина, Анну Евдокимовну, он называл второй матерью. В начале 1819 года Юрий Никитич женился на племяннице Лабзина, Екатерине Степановне Микулиной, сироте и бесприданнице. "Кроткая и изящная", она стала для мужа надежной спутницей жизни — все современники отзывались о ней с необыкновенным почтением.

К моменту женитьбы Бартенева находилась уже в отставке, полученной в ноябре 1818 года. Будучи преподавателем кадетского корпуса и имея скромный чин поручика, он не сошелся с сослуживцами, привыкшими собираться по вечерам на ширушки с обязательной карточной игрой. Его отчужденность, уклонение от участия в ширушках, использование каждой свободной минуты для чтения (книги он постоянно носил с собой), откровенная неприязнь к праздным разговорам вызывали раздражение у других офицеров. В конце концов один из них спросил при всех: "Вы себя умнее нас считаете и наше общество вам не нравится, так на что же и мундир носить?" Подобные столкновения неминуемо окончились бы вызовом на дуэль — Бартенева, противник дуэлей по убеждениям, предпочел покинуть кадетский корпус.

Однако жить без службы он не мог. Родители его были помещиками средней руки, но, имея много детей, не располагали достаточными средствами для содержания каждого из них. Юрий



Никитич позднее вспоминал, что даже рубашку носил не свою, а позаимствованную у товарища. Выйдя в отставку, он сразу попал в критическое положение. Выручил его соратник по масонской ложе князь Александр Николаевич Голицын. Один из виднейших сановников России, личный друг императора Александра I и министр просвещения, он обладал большими возможностями. 19 марта 1819 года последовал указ о назначении отставного штабс-капитана Юрия Бартенева директором училищ Костромской губернии и Костромской гимназии.

В Костроме Юрий Никитич занял заметное положение. Он заявил себя талантливым педагогом и способным организатором. Позднее, ревизуя Костромскую губернию и отметив отличное состояние учебных заведений, сенатор Дурасов констатировал: "Все здесь одолжено одной неутомимости самого господина директора Бартенева, который при вступлении в свою должность не имел помощников в своих учителях, но впоследствии, вразумя их и приспособляя к делу, довел терпением и попечением своим Костромскую гимназию до образцовой".

Другие современники также подчеркивали, что при Бартеневе костромские училища "могли поставлены быть за образцовые для других". Сменивший Голицына на посту министра просвещения адмирал А.С. Шишков, не имевший особых причин покровительствовать костромичу, обстоятельно изучив его педагогическую деятельность, пришел в восхищение, исходатайствовал ему орден Владимира 4-й степени и, в порядке исключения, увеличение жалования с 900 до 4 тысяч рублей в год.

Тем не менее жизнь Юрия Никитича в Костроме отнюдь не была усыпана розами. Его склонность к уединению, постоянное чтение книг и т. д. казались странным для многих костромичей, вдобавок знавших о его репутации как крупного масона. Особенно подозрительно относилось к педагогу, насаждавшему в губернии



новые методы обучения, местное духовенство. После подавления восстания декабристов в провинции усилилась слежка, умножились доносы. Лавина доносов обрушилась и на Бартенева. В 1827 году протоиерей И. Кондорский доносил, что в г. Нерехте “скрывается ересь в девицах незамужних, признающих божеством солнце, начальником же этой ереси есть директор училищ Ю.Н.Бартнев”. Весной 1828 года костромской губернатор провел следствие, обнаружившее беспочвенность доноса. Однако дело дошло до императора, а клеветник отделался легким испугом.

В том же 1828 году на Юрия Никитича поступил новый донос, что он “замышляет новые крамольничества для России, научает безбожие, насаждает новую, какую-то неслыханную ересь в Отечестве, сочиняет стихи” с издевательствами над царем. Он кое-как сумел оправдаться, но в следующем году последовало очередное обвинение — в размножении и пропаганде сочинений украинского народного философа Григория Сковороды. На сей раз Бартнев не отрицался, а, наоборот, указывал, что Сковорода учит добру и справедливости и ознакомление с его воззрениями может принести каждому человеку только пользу. Как бы то ни было, в августе 1829 года костромичу пришлось лично объясняться с императором Николаем I.

Конечно, дыма без огня не бывает, и далеко не все в доносах на Бартенева являлось клеветой. Отчасти его выручали хорошие отношения с костромскими губернаторами. Первый из них, генерал Баумгартен, поражался огромным познаниям и почти военной распорядительности своего директора училищ и во всем ему мирволил. Сменивший его слабыхарактерный генерал Ганскау пасовал перед целеустремленностью Бартенева и побаивался его широких связей в высших сферах. Наконец, губернаторствовавший в Костроме с 1830 года Сергей Степанович Ланской сам был видным масоном, управляющим “Великой провинциальной ложей” до ее закрытия правительством в 1822 году.

При всей своей любви к уединенному образу жизни, Юрий Никитич в Костроме вовсе не был анахоретом. У него имелось твердое представление о своих обязанностях перед обществом: способствовать его просвещению, поддерживать молодые дарования. Вокруг него образовался небольшой, но тесный кружок из местных чиновников и помещиков, интересующихся литературой. В отдельных случаях директор сам давал private уроки литературы и истории. Так, его ученицей стала молодая костромичка Анна Готовцева. Разглядев в ней недюжинное поэтическое дарование, он убедил девушку всерьез заняться поэзией. В стихотворении “Ю.Н. Бартеневу”, датированном 1828 годом, она вспоминала:

*И кто, внимая вам, в порыве упоений,  
К добру, к изящному не чувствовал стремлений?..  
Забуду ль сих минут святую тишину,  
Когда преданья лет, седую старину  
Вы слуху моему — душе передавали  
И новый блеск перу Карамзина давали;  
Экзаметр Гнедича на сердце не потух —  
Вы ум растрогали, очаровали слух.  
И Андромахи стон, и бешенство Ахилла  
Душа читателя с Гомером разделила.*

Поэтесса выразительно охарактеризовала присутствующую Бартеневу особенность — его непревзойденный талант вести беседу, в которой огромные познания преподносились собеседнику на редкость красноречиво и остроумно. Это свойственно и письмам костромича, которого можно назвать подлинным “гением эпистолярного жанра”. Часто бывая в столицах и живо интересуясь литературой, Юрий Никитич не упускал случая лично познакомиться с писателями: он навещал В.А. Жуковского, обменивался письмами с А.В. Воейковым, находился в дружеских отношениях с поэтом В.А. Тепляковым и т. д. А в середине 1820-х годов происходит его сближение с князем П.А. Вяземским.



Петр Андреевич владел в Костромской губернии большим и богатым селом Красное-на-Волге, доход с которого составлял основу его благосостояния. Поэтому, начиная с 1826 года, Вяземский регулярно наезжает в свое костромское имение для наблюдения за ведением хозяйства. Имея ряд дел в губернских учреждениях, он должен был останавливаться в Костроме, где к тому же проживали его родственники, и соприкасаться с местным обществом. С своей стороны существовавший тогда в Костроме литературный кружок был рад возможности вступить в контакт с известным поэтом.

Из всех своих новых костромских знакомых Вяземский оценил и выделил Бартенева. “Открыв” его, он оповещает о костромском уникале ближайших друзей. Вернувшись из Красного в начале осени 1828 года, он, посылая Пушкину стихи А.И. Готовцевой, сообщает: “А приписка Бартенева, умного, образованного и великого чудака, настоящего квакера”. Очевидно, он при встречах немало рассказывал поэту о костромиче, потому что, познакомившись, они быстро нашли общий язык. В конце августа 1830 года Вяземский занес в записную книжку: “Одно утро собрались у нас с Пушкиным: Бартнев — костромской, Сергей Глинка, Сибилев, Нащокин Павел Воинович”. Несомненно, речь идет об утре 30 августа 1830 года. Юрий Никитич принес к Вяземскому свой знаменитый альбом с автографами русских писателей (ныне хранится в Пушкинском Доме) и попросил Пушкина что-нибудь вписать в него. Александр Сергеевич доброжелательно отнесся к просьбе симпатичного ему коллекционера и переписал в альбом свой сонет “Мадонна” с таким дополнением: “30 августа 1830. Москва. В память любезному Юрию Никитичу Бартневу”.

По-видимому, они разговорились об эстетических взглядах немецкого сентименталиста и романтика Жан Поля, с книгами которого Пушкин не был еще знаком. Поэтому на следующий день костромич прислал ему в подарок одно из изданий Жан

Поля с многозначительной надписью: “Знаменитому Пушкину и Пушкину любимому от Бартенева. 1830, 31 августа”.

В дальнейшем их отношения поддерживались в основном через П.А. Вяземского, с которым Бартенов регулярно виделся и переписывался. Петр Андреевич не переставал восхищаться оригинальностью приятеля. “Почтеннейший Квaker — Беверлей, — обращается он к нему в феврале 1833 года, — мистик, философ, классик, романист и хиромантик, естествоиспытатель, первый чудодей по Костромской губернии и едва ли не третий, или много четвертый по всей империи, и разве десятый по целому Божьему миру”. Он подметил, что у этого чудака “душа добрая и поэтическая” и охотно исполнял его просьбы похлопотать в столицах за того или иного костромича. “Сердечно сожалею, — извещает, например, Вяземский, — что, несмотря на все желания и усилия мои, не успел я ничего сделать в пользу доброго подполковника Писемского (Феофилакта Гавриловича, родственника Бартенева и отца известного писателя. — В.Б.), которого я душевно полюбил. Он был мне здесь очень жалок, особенно же как долго не получал письма от семейства своего”. А в другом письме вздыхает: “Нет нам, батюшка Юрий Никитич, костромским счастья”.

А Бартенева действительно в Костроме счастья не было. Доносы на него не прекращались, и хотя в каждом отдельном случае он умел оправдаться, власти поглядывали на него с растущим подозрением. Губернатор С.С. Ланской в конце 1832 года переводится во Владимир, а с его преемником М.Н. Жемчужниковым отношения у директора училищ не складывались. Он стал ходатайствовать о переводе его директором в одну из московских гимназий, однако Министерство просвещения, признавая на словах большие успехи костромича на педагогическом поприще, отделялось неопределенными обещаниями. Потеряв терпение, Бартенов подает прошение об увольнении по “болезни” в отставку и 10 сентября 1833 года получает ее — правда,



пилюлю подсластили выдачей 4 тысяч рублей денежной награды и производством в чин коллежского советника. Сам же он считал своей заслугой, что при его вступлении в должность в 1819 году в светских учебных заведениях насчитывалось 219 учащихся, а при выходе в отставку — уже 800.

Оставив службу, Юрий Никитич уезжает на зиму в Москву, где более всего общается с профессором Н.И. Надеждиным и издателем Н.А. Полевым и пишет статью “О влиянии комет на землю”. Затем, по возвращении в Кострому, он ведет более открытый образ жизни, нежели прежде — на его квартире устраиваются, в частности, так называемые “благородные спектакли”.

В том же 1834 году Бартеневу предложили место директора гимназии в Нежине. Гимназия была одним из старейших и авторитетнейших средних учебных заведений Украины, однако незадолго до этого подверглась разгрому за обнаруженное в ней “вольномыслие” — многие преподаватели были уволены, некоторые брошены в тюрьму. Поэтому Юрий Никитич, прежде чем дать согласие, решил разобраться в ситуации на месте. Приехав в Нежин, он быстро понял, что от нового директора власти прежде всего потребуют искоренения в гимназии остатков “крамолы”. Роль карателя вовсе не устраивала костромича: он отказывается от назначения, отлично сознавая, что ставит крест на своей карьере по учебному ведомству. Перед отъездом из Нежина он помог деньгами бедствующей семье сидящего в тюрьме профессора И.Я. Ландражина.

Прожив три месяца в Киеве, Бартенева возвратился на родину, поселившись в сельце Золотове. Там он усердно занимается самообразованием и работает над сочинением, названным им “Золотовская летопись”. Этот своеобразный труд — записки о быте, благоустройстве и т. д. Костромы 1820 — 1830-х годов, дополненный статистическими выкладками, сохранил краеведческое значение и был напечатан уже в начале XX века.



Свое пребывание в деревне Бартенева рассматривал как временное. Он не мог подолгу жить вне "общества". Да и материальное положение побуждало его искать службу: 100 принадлежащих Юрию Никитичу крестьян, обложенных небольшим оброком, отнюдь его не обеспечивали. Но как найти, сидя в провинциальной глуши, подходящее место? На помощь пришли прежние друзья — масоны. Князь А.Н. Голицын, являвшийся теперь главноуправляющим почтовым ведомством, взял в июне 1836 года костромича к себе чиновником особых поручений. Будучи в связи с оформлением на службу в Петербурге, Бартенева тогда же вместе с Пушкиным и Вяземским провел вечер у Жуковского, собиравшегося ехать за границу. Однако он не спешил окончательно переселиться на берега Невы и до весны 1837 года оставался в Москве, где занимался благотворительностью. Его независимость, резкость суждений и непризнание каких-либо авторитетов обращали на себя общее внимание. Сын знаменитого историка Александр Николаевич Карамзин 5 ноября 1836 года сообщает в письме брату Андрею: "...я расскажу тебе анекдот про Чаадаева (П.Я. Чаадаев. — В.Б.) и Бартенева (костромской помещик, которого ты видел у Вяземских и у Жуковского). Чаадаев, очень довольный, что нашел нового слушателя, пустился толковать ему свои теории и мудрости и говорил с жаром и самодовольством; привыкший к слушателям внимательным и почтительным, он очень далеко распространился о своем любимом сюжете, не сомневаясь в восторге Бартенева, как вдруг Бартенева его остановил следующими словами: "Позвольте, есть два рода галиматъи: галиматъя простая, когда слушатель не понимает речи, но оратор сам себя понимает, и галиматъя сугубая, когда ни слушатель, ни оратор сам речи не понимает, а так как вы, кажется, сами не понимаете, что говорите, то это, выходит, галиматъя сугубая". Чаадаев окаменел, и предание гласит, что с тех пор, когда он куда-нибудь приезжает, то спрашивает сперва, здесь ли Бартенева,



и когда отвечают: здесь, то он не сымает шинели, а уходит обратно”.

Столкновение обусловлено прежде всего тем, что мировоззрение Чаадаева было чуждо костромичу, который тоже глубоко занимался философией. Об этом, в частности, свидетельствуют его письма земляку, выдающемуся философу-метафизику Федору Александровичу Голубинскому, где тонко улавливается суть отвлеченностей даже в таких специфичных предметах, как духоведение и герметизм. А его способность эффектно оборвать оппонента подметила еще Е.А. Лабзина: “Это такая голова, что с ним мудроно кому сладить и в резон ввести”.

Обосновавшись, уже после смерти Пушкина, наконец в Петербурге, Юрий Никитич занял при князе А.Н. Голицыне исключительное положение, став его наперсником и доверенным собеседником, без которого тот не мог обходиться. Впрочем, свое влияние на престарелого, но по-прежнему всеильного вельможу он использовал главным образом для того, чтобы успешнее ходатайствовать за множество обращающихся к нему просителей.

В марте 1842 года больной и ослепший А.Н. Голицын выходит в отставку и переселяется в Крым, в свое имение Кореиз. Император Николай I, благоволивший князю и знавший о его привязанности к Бартеневу, недавно произведенному в чин действительного статского советника, разрешил тому остаться при Голицыне, числясь на государственной службе и получая значительное жалование в 1715 рублей серебром. Все обязанности Юрия Никитича, приехавшего в Кореиз осенью 1842 года, заключались в посещениях “благодатного старца” и беседах с ним на самые разные темы. Но и из такого времяпрепровождения он извлек пользу для отечественной истории и литературы, записывая воспоминания Голицына, полвека проведенного при дворе, знавшего закулисные тайны политической и общественной жизни и знакомого со всеми крупными деятелями своего времени. “Рассказы князя А.Н. Голицына. Из записок Ю.Н.



Бартенева”, напечатанные в журнале “Русская старина” и “Русский архив” в 1880-х годах, по определению академика А.Н.Пыпина, “дают весьма примечательный материал для знакомства с целой полосой нашей общественной и официальной жизни”. Написаны “Рассказы” с свойственным Бартеневу своеобразием, упругостью и вместе с тем нередко вычурностью стиля, они откровенны и занимательны. Столь же откровенно описывается и сам Голицын, лукавый царедворец и интриган — эта сторона “Рассказов” невольно заставляет припомнить известную эпиграмму Пушкина.

В Кореизе Юрий Никитич вел подробный дневник, написанный, по определению одного из исследователей, “языком ясным, сильным, местами глубокопоэтичным”. Изданный опять-таки уже после смерти автора, дневник не только характеризует жизнь на Южном берегу Крыма в 1840-е годы, но и содержит разнообразные сведения литературного и исторического порядка и свидетельствует об огромных познаниях Бартенева, например, в области ботаники: читая описание Никитского ботанического сада, легко понять, почему П.А. Вяземский называл костромича “естествоиспытателем”.

Живя в Крыму, Бартенева ведет деятельную переписку с приятелями-литераторами. Ему пишут М.А. Максимович и П.А. Ширинский-Шихматов, к письму Подолинского, отмечается в дневнике, “приложены были стихи, названные для моего альбома”. В дневнике же Юрий Никитич с грустью откликается в 1843 году на известие о смерти поэта Виктора Алексеевича Теплякова, которого ценил и Пушкин, именуя “Мельмотом-скитальцем”: “...я был в тесных отношениях, это были и приятельские, и литературные связи”. К памяти Пушкина костромич относился с благоговением. Он подружился с Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой, жившей неподалеку от Кореиза, в Алушке, они часто видятся и подолгу беседуют. 25 апреля 1843 года он заносит в дневник: “Она отправляется в чужие края на 15 месяцев... Дай Бог ей счастливый путь. Эта женщина бросила мне несколько

цветков утешения; положим они были и поблеклые, но все-таки цветки, а не иглистые и терновые ветки, которые бросают мне даже те, которых я одолжал в жизни”.

Бартенев следит за всем, что печатается о Пушкине. Прочитируем еще одну дневниковую запись: “Получа 6-ю книжку “Отечественных записок”, я так заинтересован был статьею о Пушкине, что даже и ночью нашел время почитать ее несколько”. Это была известная статья В.Г. Белинского. Кстати, личным секретарем А.Н. Голицына костромич определил близкого друга Виссариона Григорьевича и своего земляка князя Павла Дмитриевича Козловского. В конце 1830-х годов, будучи инспектором Константиновского межевого института в Москве, Козловский принял туда Белинского преподавателем и поселил в своей служебной квартире, а находясь в Крыму, вел с ним переписку, в которой упоминается и Бартенев.

Еще в 1841 году, служа в Петербурге, Юрий Никитич стал одним из основателей т. н. “Печорской кампании”, учрежденной с уверенностью в “колоссальной пользе, имеющей от того развиться для общей Родины нашей России”. Целью кампании были поиски на Печоре золота и металлов, обсуждался и проект соединения реки Печоры с Обью. Конечно, подобные проекты были для того времени утопичны, а директор кампании В.Н. Латкин главным образом был озабочен выманиванием у учредителей все новых вложений. Уехавши в Крым, Бартенев не мог не влиять на деятельность кампании, в то же время его вера, что ее основание послужит делу развития русского Севера, постепенно иссякала. Наконец, в 1844 году он подытоживает в дневнике: “Дело Печорской кампании оказывается пуфом”.

Живя в Крыму, костромич поддерживал постоянные связи с родиной. Его по-прежнему волнует положение уездных училищ, которые он и отсюда снабжает новыми книгами, тогда как училищные смотрители присылают ему даже рисунки с изображениями вновь выстроенных



учебных зданий. Бартенева мечтает: “Вот если бы довелось переехать жить в Кострому, купить дом Грацианского на Царевской улице, переделать его, место для сада есть обширное”. Впрочем, подобные настроения вызваны не одной ностальгией. Его неуступчивая и самолюбивая натура не могла примириться с атмосферой, складывающейся в Кореизе, где князем Голицыным полностью завладела его сводная сестра, сварливая ханжа Е.М. Кологривова. Наскучив частыми стычками с нею, Юрий Никитич решил расстаться с своим многолетним покровителем и 8 мая 1844 года выехал в Киев. Там он узнал о смерти А.Н. Голицына 22 ноября 1844 года.

Дальнейшая жизнь Бартенева протекала, однако, не в Костроме, а в Москве, где он занимал солидную и необременительную должность и был любимцем столичного “общества”. Хорошо знавшая его поэтесса Е.П. Растопчина, получавшая от этого чудака длинные шуточные (и одновременно язвительные) послания, однажды так охарактеризовала своего приятеля-антагониста: рассказчик соленых анекдотов и философ, рассуждавший в гостиных о религии и метафизике, резонер, обращающийся на “ты” ко всем без различия чина, возраста и пола, позволяющий себе нескромные выходки в присутствии дам, которые тем не менее считали его “душкой” и “всеобщим живителем”. Бартенева и сам подтверждает верность данной характеристики: “Я немного циник и для напوماженного общества не всегда гожусь”.

Он был заметной фигурой на званых вечерах в Москве: “Около Юрия Никитича Бартенева, — вспоминал современник, — служившего подряд при нескольких генерал-губернаторах чиновником особых поручений, собирался тесный кружок слушателей. Юрий Никитич начинал чрезвычайно едко и остро передавать различные факты, смешные стороны лиц, с которыми он сталкивался по своей службе и большею частью знакомых слушателям; остроумам его не было конца, и злой язык Юрия Никитича никому не делал пощады.



Между прочим, он любил давать всем своим хорошо знакомым прозвища, и так метко, что раз данное им прозвище навсегда оставалось за тем лицом. Жил он в Москве очень открыто, большим хлебосолом, и кто только не бывал у него на Смоленском бульваре”.

После смерти Пушкина костромич упрочил отношения с его ближайшими друзьями. Очень разборчивый в выборе знакомых Н.В. Гоголь приглашает его на свои именины, которые праздновались в саду у М.П. Погодина. Продолжает пополняться автографами его знаменитый альбом. Он собирает значительный архив с ценными историческими документами. Среди них, например, была переписка М.И. Сперанского — в 1847 году ее просит предоставить на время М.А. Корф, работавший над монографией об этом государственном деятеле. Однако Бартенов не спешит откликнуться на эту просьбу: он сам собирался писать книгу о Сперанском, да и личность Корфа была ему антипатична. В 1850 году в журнале “Москвитянин” публикуется статья Бартенева “Некоторые черты из жизни М.М. Хераскова”, содержащая неизвестные факты биографии видного деятеля русской культуры.

Юрий Никитич скончался в 1866 году, Екатерина Степановна пережила мужа на шесть лет. П.И. Бартенов, основатель популярного журнала “Русский архив” и происходивший из другой ветви того же рода, познакомился с ним в 1853 году: “От них обоих, кроме добра, я ничего не видел”, — вспоминал он.

При всем своеобразии и немаловажности своего литературного творчества, Юрий Никитич оставил большой след как недюжинная личность. Его двоюродный племянник Алексей Феофилактович Писемский, посвятивший Бартеневу повесть “Брак по страсти” (1851), увековечил его в образе полковника Марфина в романе “Масоны” и, по предположению профессора А.И. Кирпичникова, изобразил дядю и под именем Ливанова в другом романе — “Взбаламученное море”.



# “Твой недосказанный упрек”



Анне Ивановне Готовцевой, вероятнее всего, так и не посчастливилось лично встретиться и побеседовать с Пушкиным. Тем не менее поэт хорошо знал костромичку, вел с нею поэтическую переписку, упоминал ее имя в сношениях с друзьями. А для нее Пушкин был божеством, стихи которого наполняли светом и смыслом жизнь скромной провинциалки.

Под древним городом-крепостью Судиславлем течет река Готовка, на берегах которой еще в XV веке находились вотчины и поместья служилого рода, получившего и соответствующую фамилию. Готовцевы не были ни чиновны, ни богаты, но в течение столетий породнились со множеством коренных костромских семейств. Служили они, по обычаю тех времен, в армейских полках, а достигнув первых офицерских званий, старались выйти в отставку и осесть в своих костромских имениях.

Ивану Михайловичу Готовцеву, сравнительно с другими родичами, можно сказать, повезло. Он не добывал офицерский чин долгими годами солдатской службы, а еще подростком был отвезен в шляхетский кадетский корпус в Петербург. Выпущенный по

окончании корпуса в армию, Готовцев не сделал военной карьеры, зато усердно занимался самообразованием, так что, выйдя в отставку с чином поручика, смог занять на родине должность землемера. На пятом десятке лет Иван Михайлович женился на дочери прапорщика Петра Ивановича Бизеева Анастасии, молодой девушке с твердым характером и вдобавок состоятельной. Пошли дети — Мария, Петр, а в 1799 году родилась Анна.

Деревеньки у Готовцевых были маленькие, без усадеб (семья, очевидно, жила в Костроме), и в 1803 году Иван Михайлович купил в Буйском уезде село Панфилово. Правда, усадьба была незавидная: по описанию, в ней стоял деревянный “господский дом ветхий, крыт тесом”, с двумя “людскими” флигелями. Однако он был поместителен, с 18 окнами и 5 печами, и после некоторого ремонта вполне пригоден для проживания большой (число детей увеличилось) семьи.

В Панфилово протекали детские годы будущей поэтессы. Она жила среди перелесков и лужаек, а в летние дни убегала далеко в поля по меже и тропинкам, рано узнав и полюбив неяркую северную природу. Анна росла сентиментальной, впечатлительной и любознательной девочкой. Но в усадьбе было невозможно дать детям приличное образование, и Иван Михайлович, переименованный в титулярные советники, решил перевезти семью в Кострому, для чего баллотировался в заседатели Палаты гражданского суда.

Старшие Готовцевы стояли выше окружающей их среды. В то время, особенно в провинции, дворяне считали вполне достаточным, чтобы их дочери научились читать и писать и в лучшем случае могли болтать по-французски и брэнчать на фортепиано. Анне Ивановне родители, напротив, постарались привить широкие и прочные познания, нанимая для занятий с нею преподавателей недавно открытой гимназии и старинной духовной семинарии. Обучали ее и музыке.

В доме Готовцевых всегда было много книг. Их усердной читательницей была и старшая сестра Анны Мария Ивановна



(родилась в 1793 году). Она не только хорошо знала художественную литературу, но и сама писала стихи, правда, не решаясь рассылать по журналам, а помещая в модные тогда семейные альбомы. Позднее М.И. Готовцева перешла на прозу; из ее произведений наибольшую известность снискала повесть “Житъе-бытѣ на Кореге, записки Гульбинской Авдотьи Степановны”, напечатанная в журнале “Русский вестник” за 1857 год. Может быть, по примеру старшей сестры Анна и сама стала пописывать стихи, но ни она, ни окружающие не придавали этому серьезного значения. Знакомых удивляло другое: на редкость красивая девушка, Анна Ивановна и к двадцати годам, когда большинство ее сверстниц уже обзавелось семьями, отклонила многочисленные предложения руки и сердца и балам, где она была всегда в центре внимания, предпочитала уединенное времяпрепровождение с книгой в руках.

Огромную роль в жизни Готовцевой сыграл приезд из Петербурга Юрия Никитича Бартенева, назначенного в 1819 году директором гимназии и училищ Костромской губернии. Его появлению в Костроме предшествовала стоустая молва: рассказывали, что новый директор — масон высокой степени и стоит на дружеской ноге с первыми столичными сановниками, что он кладезь премудрости и закоренелый оригинал. Первые же впечатления от общения с Бартеньевым показали костромичам, что на сей раз молва их не обманула: непривычная для провинции независимость поведения Юрия Никитича, его острый, как бритва, язык, глубокие познания в литературе, истории и философии сразу стали притчей во языцех. У Анны Ивановны в это время скончался отец — она носила траур и не появлялась в обществе. Но рассказы навещавших ее знакомых возбуждали ее любопытство. С своей стороны, Бартеньев тоже был наслышан об умной и красивой девушке. Когда закончился траур, они познакомились. Анну Ивановну интересовало на первых порах мнение Юрия Никитича о новых литературных произведениях, о



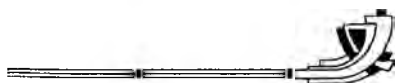
его знакомых столичных писателях. Однако постепенно для нее открылась замечательная эрудиция собеседника, умение его логично и просто объяснять сложные понятия. Бартенеv стал для девушки подлинным наставником: он часами беседовал с нею, беседы эти сделались регулярными и протекали по определенной программе. О содержании бесед-уроков поведала сама Готовцева:

*Забуду ль сих минут святую тишину,  
Когда преданья лет, седую старину  
Вы слуху моему — душе передавали  
И новый блеск перу Карамзина давали:  
Экзаметр Гнедича на сердце не потух —  
Вы ум растрогали, очаровали слух.  
И Андромахи стон, и бешенство Ахилла  
Душа читателя с Гомером разделила.*

Они подробно беседовали и о современной русской литературе. Юрия Никитича отличал талант излагать свои мысли изящно и красноречиво — ученица недаром называла его “златыми устами”. А он, видя, как подобные уроки способствуют развитию девушки, радовался ее понятливости и памятьливости. Уверившись в больших способностях Готовцевой, Бартенеv стал уговаривать ее вернуться к стихотворчеству.

*Забывтый гений мой в стесненьи исчезал:  
Но ваш призывный глас ему жизнь нову дал. —*  
писала костромичка.

Первые стихи Готовцевой, удовлетворившие саму сочинительницу и ее наставника, датированы 1823 годом. Конечно, были и более ранние, но поэтесса строго подходила к своему творчеству и не сохранила их. Даже те стихи, которые она сама находила удачными, костромичка долго не хотела печатать и опубликовала их только под сильным давлением Бартенева. В мае 1826 года в журнале “Московский телеграф” появилось стихотворение Готовцевой “К NN, нарисовавшей букет поблекших цветов”:



*Зачем поблекшие цветы  
Ты легкой кистью оттеняешь  
И в светлый день твоей весны  
О мрачной осени мечтаешь?*

Публикация сопровождалась примечанием: “Издатель (Н. Полевой. — В.Б.) благодарит почтенную особу, доставившую ему сие прелестное произведение юного поэтического таланта”. В том же году стихи Анны Ивановны “Одиночество (Перевод из Ламартина)” печатаются и в журнале “Сын Отечества”. Позднее она, хотя и нечасто, но регулярно издается в альманахах и сборниках.

Имя талантливой костромской поэтессы начинает пользоваться известностью в литературных кругах. Ею заинтересовался Петр Андреевич Вяземский. Бывая в Костроме по делам своих находящихся поблизости имений, он много слышал от здешнего приятеля Юрия Никитича Бартенева о его талантливой и привлекательной ученице и захотел с нею познакомиться. Это совпало с желанием самой Анны Ивановны. В первое же свидание костромичка произвела на столичного литератора сильное и глубокое впечатление, о чем свидетельствуют хотя бы посвященные ей “Стансы” — при всей условности форм данного жанра в них сквозит искреннее чувство:

*Благоуханием души  
И прелестью, подобно розе,  
И без поэзии, и в прозе  
Вы достоверно хороши...  
Дается редкому поэту  
Быть поэтическим лицом:  
В гостинной смотрит сентябрем,  
Кто чародей по кабинету.  
Но в вас, любимице наук,  
С плодом цвет свежий неразлучен:*



*С улыбкой вашею созвучен  
И стих ваш, сердца чистый звук.*

Вяземский в нескольких словах сумел точно сформулировать то, что поражало в Готовцевой современников вообще: сочетание редкой красоты с большим умом и обширными познаниями.

Анна Ивановна ценила завязавшиеся отношения с Вяземским и потому, что он был ближайшим другом А.С. Пушкина и мог многое рассказать о нем. А она благоговела перед гением Пушкина, жадно ловила каждое слово о нем. Тем более для нее были необъяснимы нападки великого поэта на женщин, отнюдь не редкие в его произведениях 1820-х годов. Так, еще в "Московском телеграфе" за 1827 год был опубликован отрывок из "Евгения Онегина" под заголовком "Женщины", в коем утверждалось, что от представительниц слабого пола нельзя ждать "и чувств глубоких, и страстей". А в "отрывках из писем, мыслях и замечаниях", опубликованных в "Северных цветах за 1828 год", о женщинах сказано еще определеннее: "Природа едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по уху их, не достигая души. Они бесчувственны к ее гармонии. Вслушивайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия".

Лукавый Вяземский, вероятно, уклонялся от разъяснений, а предложил собеседнице самой обратиться к Пушкину, обещая свое посредничество в получении от него ответа. Он понимал, что обмен стихами между Готовцевой и Пушкиным поможет костромской поэтессе войти в "большую литературу".

Послание "А.С. Пушкину" является одним из лучших творений Готовцевой. Написано оно в присущей ей манере недоговоренности, полунамека:

*О Пушкин, слава наших дней,  
Поэт, любимый небесами!  
Ты век наш на заре своей  
Украсил дивными цветами:*



*Кто выразит тебя сильней  
Природы блеск и чувства сладость,  
Восторг любви и сердца радость,  
Тоску души и пыл страстей?..  
Одно... Но где же совершенство?  
В луне и солнце пятна есть!*

.....

.....

*Несправедлив твой приговор, —  
Но порицать тебя не смеем:  
Мы гению простить умеем —  
Молчанье выразит укор.*

Стихотворение это поэтесса вручила Вяземскому. А в сентябре 1828 года Пушкин, находившийся в усадьбе Малинники Тверской губернии, получил от друга из Москвы письмо. “Я по всем губерниям сводничаю для тебя и горячу воображение и благородные места молодых дворянок, — пишет Петр Андреевич в принятом в сношениях между ними тоне напускного цинизма. — Вот тебе послание от одной костромитянки, а ты знаешь пословицу про Кострому. Только здесь грешно похабничать: эта Готовцева точно милая девица телом и душою. Сделай милость, батюшка Александр Сергеевич, потрудись скомпоновать мадригалец в ответ, не посрами своего сводника. Нельзя ли напечатать эти стихи в “Северных цветах”: надобно побаловать женский пол, тем более что и он нас балует, а еще тем более, что весело избаловать молодую девицу. Вот и мои к ней стихи: мы так и напечатали бы эту Сузану между двумя старыми прелюбодеями. А приписка Бартенева...”

Пушкин отнесся к стихам Готовцевой со вниманием, заинтересовало его и предложение Вяземского, однако сочинение ответа костромской поэтессе потребовало от него усилий. В середине ноября 1828 года он сообщил из Малинников издателю альманаха



“Северные цветы” А.А. Дельвигу, что ответ Готовцевой еще не готов: “Я совершенно разучился любезничать”. Правда, в следующем письме от 26 ноября поэт приводит текст нового стихотворения:

*И недоверчиво, и жадно  
Смотрю я на твои цветы,  
Кто, строгий стоик, примет холодно  
Привет харит и красоты?  
Горжуся им — но и робею:  
Твой недосказанный упрек  
Я разгадать вполне не смею.  
Твой гнев ужели я навлек?  
О, сколько мук себе готовил  
Красавиц ветреный зомл,  
Когда предательски злословил  
Сей пол, которому служил!  
Любви безумством и волненьем  
Наказан был бы он; а ты  
Была всегда б опроверженьем  
Его печальной клеветы.*

Вот тебе ответ Готовцевой (черт ее нобери), как ты находишь эти холодные и гладенькие строчки? Что-то написал ей мой Вяземский? А от меня ей мало барыща. Да в чем она меня и впрям упрекает? В неучтивости ли противу прекрасного полу, или в похабностях, или в беспорядочном поведении? Господь ее знает”.

Пушкин скромничает — стихи прелестны, они написаны с чисто пушкинским остроумием. Опубликованные вместе с “Стансами” Вяземского и стихотворением Готовцевой в “Северных цветах на 1829 год”, они действительно сделали имя костромички известным всей читающей России.

Но и помимо этого, 1829 год стал очень важным для Анны Ивановны. Ей исполнилось тридцать лет — пора было подумать о замужестве. Она остановила выбор на давнем своем поклоннике,



бывшем на четыре года моложе ее, Павле Петровиче Корнилове. Сын генерала, участника Отечественной войны и состоятельного костромского помещика, выпускник Пажеского корпуса, Корнилов служил подпоручиком лейб-гвардии Преображенского полка. Красивый, образованный, способный актер-любитель, молодой гвардеец был страстно влюблен в Анну, с которой состоял в дальнем родстве, и не раз делал ей предложения. Наконец он получил согласие.

Незадолго до свадьбы Готовцева побывала в Москве для покупки приданого. Встречалась она и с московскими литераторами. Их общее мнение выразил Николай Михайлович Языков, находившийся в расцвете творчества (тогда же им написан и знаменитый "Пловец"):

*Влюблен я, дева-красота!*

*В твой разговор живой и страстный,*

*В твой голос ангельски-прекрасный,*

*В твои румяные уста!*

*Дай мне тобой налюбоваться,*

*Твоих послушаться речей,*

*Упитья песнею твоей.*

*Твоим дыханьем надыхаться!*

Это восторженное стихотворение было положено на музыку композиторами А. Алябьевым и А. Даргомыжским и стало популярным романсом.

Замужество, естественно, изменило образ жизни костромской поэтессы. Павел Петрович выходит в отставку и поселяется с женой в своем великолепном каменном доме на Ильинской улице (ныне ул. Чайковского, 11). Анна Ивановна серьезно относится к семейным обязанностям, которые отнимают у нее немало времени. Затем последовали неудачные роды и за ними тяжелая продолжительная болезнь. Но она не забрасывает занятия стихотворчеством и, наоборот, просит П.А. Вяземского быть ее наставником на поэтическом поприще. В ответ на просьбу тот откликается в 1830 году обстоятельным и



умным письмом. “Жалею, что давно не знаю ничего о ваших стихотворных занятиях, — писал Петр Андреевич. — Надеюсь, что вы не изменили им. Смею даже советовать вам упражняться постоянно и прилежно: пишите стихом своим как можно вернее и полнее впечатления, чувства и мысли свои. Пишите о том, что у вас в глазах, на уме и на сердце... Пускай написанное вами будет разрешением собственных, сокровенных задач. Тогда стихи ваши будут иметь жизнь, образ, теплоту, свежесть. В женских исповедях есть особенная прелесть. Свой взгляд, свое выражение придает печать оригинальности и новости предметам самым обыкновенным”.

О том, какое значение имело для Готовцевой (она и после замужества подписывала свои стихи девичьей фамилией) внимание и поддержка известного поэта, свидетельствуют ее письма: “Немногие часы, проведенные у почтеннейшего Юрия Никитича, — писала она, — доставившие мне счастье видеть, слышать вас и получить впоследствии столько незабываемых знаков внимания Вашего: портрет, книги... “Северные цветы”, “Галатея” и, наконец, стихи мои, удостоенные столь обязательного внимания, — все наполняет меня такою благодарностью, которая превышает выражение. Я с благоговенным вниманием перечитываю письмо ваше и стараюсь запечатлеть в памяти драгоценные советы, в нем заключающиеся. Снисходительное внимание ваше ободряет меня к возобновлению некоторых занятий моих, которые совершенно прекратила продолжительная болезнь”.

Она стремится разубедить друзей, упрекавших ее в забвении поэзии и превращении в светскую даму. 1832 годом датировано оставшееся неопубликованным стихотворение “В.Н.Ж.”:

*Я та же все! Напрасно милый брат  
Меня беспечной называет;  
Иль правда то, что дальний друг бывает  
Всегда, во всем, и правый, виноват.  
Я та же все! Все прежних чувств полна:*



*Живя среди полей, могу ли измениться!*

*Могу ль к изящному душою не стремиться,*

*Сдружась с природою и в сердце мир храня.*

“Среди полей” — о доставшейся поэтессе по наследству усадьбе Подберезье Костромского уезда, где она проводила летние месяцы, что было очень полезно для здоровья родившихся слабыми детей (большинство их умирало в младенчестве, выжили же четверо — два мальчика и две девочки). А с 1836 года Анна Ивановна приняла на себя заботу о калекке — племяннице двенадцатилетней Юлии Жадовской. Она оказалась способным педагогом и сама преподавала девочке в течение трех лет иностранные языки, историю и географию. Главное же, Готовцева привила воспитаннице горячую любовь к русской литературе, ободрила ее в первых поэтических опытах. Она как бы передала племяннице свое перо — Юлия Валериановна уже в 1840-х годах становится известной поэтессой.

Сама же Анна Ивановна пишет хотя и постоянно, однако немного, печатается редко. Вяземский, ценя талант костромички, пытается “распевелить” ее и в год смерти Пушкина присылает свой портрет. В ответ Готовцева пишет стихи “Князю П.А. Вяземскому при получении портрета”:

*Вы ль это, князь, и Ваш ли образ незабвенный.*

*Встречаю снова я чрез восемь длинных лет?*

*Как утешителен ваш сладостный привет,*

*Как вы украсили мой уголок смиренный.*

Вяземский связал ее с журналом “Галатей”, где уже в конце 1830-х годов был опубликован ряд стихов Готовцевой: “Надежда”, “На смерть А.Н.Ж.”, “Осень”, “Е.Н. Кашкаровой”, “К перу, подаренному князем П.А. Вяземским”. После 1839 года она вовсе перестала печататься. Причина этого — в осложнившихся семейных обстоятельствах, а то, что Анна Ивановна не смогла, вернее, не захотела преодолеть их и продолжить свое служение литературе, лишь подтверждает искренность признания, вырвавшегося у нее в



одном из ранних стихотворений: “В безвестной тишине, забытая всем светом, я не хочу похвал, ни славы быть поэтом”.

Для русских читателей костромская поэтесса осталась автором 10 стихотворений, опубликованных в 1820 — 1830-х годах. Правда, они были отмечены ценителями и знатоками отечественной поэзии. В статье “Сочинения Зинаиды Р-вой” В.Г. Белинский писал: “С появлением Пушкина гораздо больше стало являться на Руси женщин-писательниц... мы помним, в пушкинский период литературы, только четыре женские имени: кн. З.А. Волконской... госпож Лисицыной, Готовцевой и Тепловой. В стихотворении трех последних проглядывает чувство... уже проблескивала поэзия. Правда, упомянутые нами стихотворницы мало писали... по может ли быть плодотворна поэзия, основанная не на мысли, а на одном непосредственном чувстве?”

В 1840-х годах Павел Петрович Корнилов вновь определился на службу, заняв пост помощника управляющего удельной конторы. Огненные Анна Ивановна большую часть времени проводит в Костроме, задавая балы, устраивая званые обеды, нанося визиты. В числе ее знакомых были два поэта, как и она, отошедших от литературного творчества, — П.А. Катенин и И.Д. Козловский. Оба они близко знали в свое время Пушкина, и, несомненно, в их разговорах это имя упоминалось нередко. А Катенин был памятен Готовцевой и потому, что в тех же “Северных цветах на 1829 год”, где помещено ее послание Пушкину, было опубликовано катенинское программное стихотворение “Старая была”.

Поездка в 1850 году в Москву и встреча с проживающим там Юрием Никитичем Бартевым на какой-то миг всколыхнула творческую активность костромички. В знаменитый бартевский альбом, прославленный автографом Пушкина, она вписывает стихотворение “Вечер (у Ю.Н. Бартева. — В.Б.) 17 сентября 1850 года”. Где-то в это же время создается большое стихотворение



(его можно назвать и поэмой) “Камин” и итоговое “Осень и жизнь”:

*Как листья, годы облетают,  
Дни жизни вянут, как цветы,  
Как облака, бегут мечты;  
Как дивный свет, ослабевают  
Ума и силы красоты.  
И солнце, как любовь, хладеет,  
И жизнь, как речка, цепенеет.*

Вернувшись в Кострому, поэтесса послала Ю.Н. Бартеневу тетрадь с 47 своими стихами. Они показывают, что ее талант не иссяк, а, напротив, стал более зрелым, сохранив присущий Готовцевой стиль полунамеков и тонких умолчаний. Очевидно, Готовцева надеялась на издание с помощью Бартенева сборника своих стихов, но этому плану не суждено было сбыться.

В 1850-х годах Анна Ивановна забросила поэзию; во всяком случае, не сохранилось ни одного ее стихотворения. В литературном мире она поддерживает знакомство только с поэтом Николаем Федоровичем Щербиной, который был в Москве учителем племянницы ее мужа Маши (“Миньоны”) и на лето приезжал с нею в корниловское имение под Костромой. Конечно, родственные связи сохранились и с Юлией Жадовской.

Тяжелый удар нанесла Анне Ивановне в 1863 году смерть мужа, Павла Петровича, от рака. Она окончательно уединилась в своей костромской усадьбе, где и скончалась в 1871 году. Похоронена поэтесса в селе Карабанове ныне Красносельского района.

Сверстница Пушкина, костромичка надолго пережила его. Среди современников многие стояли ближе ее к великому поэту, но и из них разве не считанные единицы состояли в поэтической с ним переписке?



# Секундант



Иван Козловский принадлежит к сонму третьестепенных и ныне позабытых стихотворцев пушкинской эпохи. Однако в окружении Пушкина оказался он не случайно. Это обусловили уже семейные связи: бабка, Елена Федоровна Нащокина, близкая родня друга Пушкина Павла Воиновича Нащокина, а троюродный брат, известный дипломат и литератор Петр Борисович Козловский, тоже приятельствовал с поэтом. И воспитывался Иван Дмитриевич в кругу людей, относящихся к Пушкину с пиететом, находящихся в курсе событий его жизни, читавших его стихи еще в рукописях.

Имена родителей Козловского вошли в историю русской литературы XIX века, впрочем, благодаря не Пушкину, а Достоевскому. Князь Дмитрий Николаевич, двадцатилетний отставной секунд-майор, поселился в своих богатых костромских имениях и позднее был избран губернским предводителем дворянства. Он не женился, но завел в усадьбе гарем из крепостных одалисок. Живя широко и безалаберно, задавая балы и тратя деньги без счета, князь расстроил свое большое состояние. Он быстро

дрыхлел и к 1810-м годам попал под каблук одной из своих наложниц Прасковьи Трофимовны, родившей ему кучу детей. Женщина умная и с сильным характером, она, играя на отцовских чувствах стареющего селадона, сумела в 1814 году обвенчаться с ним. В 1819 году Дмитрий Николаевич умер, и только через год последовал указ Сената о признании “законными” его многочисленных детей. Им и их матери досталось 500 “душ” крестьян и огромные отцовские долги. Чтобы избежать продажи имения с молотка, Прасковье Трофимовне пришлось обивать пороги московских присутственных мест. Заодно она решилась проконсультироваться у врачей — здоровье ее пошатнулось, и обратилась к врачу больницы для бедных Михаилу Андреевичу Достоевскому. Знакомство переросло в дружбу, а 4 ноября 1821 года княгиня Козловская стала крестной матерью новорожденного сына врача — Федора. Тот в детские годы не раз слышал ее рассказы о покойном муже и позднее использовал их, выведя Дмитрия Николаевича под именем “князь К” в повести “Дядюшкин сон”.

Третий из сыновей Дмитрия Николаевича и Прасковьи Трофимовны, Иван, родился в июле 1811 года в отцовском имении Борщовка Нерехтского уезда. Это была старинная барская усадьба, принадлежавшая прежде родственнику Козловских знаменитому генерал-аншефу А.И. Бибикову. В повести о “князе К” Федор Достоевский, по-видимому, гостивший здесь у крестной матери, описывает барский дом и сад “с выстриженными из акаций львами, с насыпными курганами, с прудами, по которым ходили лодки с деревянными турками, игравшими на свирелях, с беседками, с павильонами, с моншлезирами и другими затеями”. Иван Дмитриевич очень любил свою родину и позднее, живя вдалеке, сильно тосковал по ней.

Однако положение молодых Козловских в Борщовке было двусмысленным: даже после того, как их родители обвенчались, они



продолжали официально именоваться “воспитанниками”. Да и в Прасковье Трофимовне дворня видела не барыню, а такую же крепостную. Поэтому в 1815 году новоявленная княгиня купила в Костроме деревянный дом на Дворянской улице и с семьей переселилась в город. Там для занятий с детьми стали приглашать гимназических учителей.

После 1820 года, когда Иван был признан “законным” сыном скончавшегося князя Козловского, мать отвезла его в Москву и определила в кадетский корпус. По воскресеньям подростка брали к себе его тетки по отцу, семьи которых принадлежали к московской культурной элите. Из них Федосья Николаевна, в замужестве фон Менгден, имела сына Михаила Александровича. Последний, на 30 лет старше двоюродного брата, имел генеральский чин и состоял членом тайного “Союза благоденствия”. Еще большее влияние оказало на молодого костромича семейство другой его тетки Марии Николаевны, бывшей замужем за полковником Иваном Михайловичем Колошиным. Их дети, Петр и Павел, тоже являлись членами “Союза благоденствия”, а Павел — и “коренной думы”. В доме Колошиных собирались писатели и деятели искусства, обсуждались политические события и литературные новости. Кадет все жадно слушал и запоминал. Родственники снабжали его книгами и журналами.

В начале 1828 года 16-летний Козловский был выпущен из Московского кадетского корпуса с чином прапорщика, а в марте получил назначение в 10-ю конно-артиллерийскую роту. Потянулись годы службы в провинции. Сослуживцы-офицеры проводили время в попойках и за картами, но Ивана Дмитриевича все это не увлекало. Он много читает, тратя на книги часть скудного жалования младшего офицера — мать, выплачивая огромные долги, лежавшие на имении, почти не помогала сыновьям. В это время юноша уже пробует и собственные силы в поэзии, не решаясь еще послать свои стихи в

журналы, а зачитывая их товарищам и записывая в альбомы уездных барышень. Его кумир — Пушкин...

После начала войны с Польшей артиллерийская часть, в которой служил Козловский, в 1831 году была двинута к западной границе и приняла участие в военных действиях. О его личной храбрости свидетельствуют орден Анны 3-й степени и польский знак отличия 4 класса, полученные костромичом за эту кампанию.

Как отличный и образованный офицер, выделявшийся своими способностями и знаниями, прапорщик Козловский в 1832 году назначается бригадным адъютантом 6-й конно-артиллерийской бригады, а в конце следующего года переводится по службе в 14-ю легкую батарею 7-й конно-артиллерийской бригады. Обе бригады были расквартированы в Твери, и артиллерийские офицеры завязали тесные отношения с местным обществом. Жителям Твери пришлось ко двору и молодой князь Козловский с его превосходным знанием литературы и занятиями поэзией, веселым и открытым нравом и умением с достоинством вести себя в самых острых ситуациях.

А самого Ивана Дмитриевича более всего в Твери интересовали жившие там И.И. Лажечников и С.Н. Глинка. Первый был директором местной гимназии и в 1833 году опубликовал свой первый исторический роман "Последний Новик", сразу сделавший его имя популярным. Проведя многие годы на военной службе, Иван Дмитриевич охотно принимал у себя обретавшихся в Твери молодых офицеров, интересующихся литературой. Сергей Николаевич Глинка, один из прежних руководителей "Союза благоденствия" и автор знаменитых "Писем русского офицера", поселился в Твери с 1831 года после отбытия ссылки в Олонецкой губернии и находился здесь под полицейским надзором.

Глинка и Лажечников все же слишком далеко отстояли от двадцатилетнего прапорщика по своему возрасту и положению, зато он близко сошелся с поселившимся незадолго до него в Твери



талантливым поэтом декабристского направления А.А. Шишковым. Племянник государственного деятеля и учредителя “Беседы любителей русского слова”, Александр Ардалионович смолоду отличался вольномыслием. В 1816 году Кексгольмский полк стоял рядом с Царским Селом, и служивший в нем семнадцатилетний поручик Шишков познакомился с многими лицеистами и особенно подружился с Пушкиным, посвятившим ему послание. Как поэт, Шишков формировался под сильнейшим воздействием творчества Пушкина, что было очень заметно по его первому сборнику “Восточная лютня” (1824). В 1827 году Александр Ардалионович, будучи уже капитаном, служил в Динабурге и тайком виделся там с заключенным В. Кюхельбекером. Свободолюбивыми мотивами проникнут его второй сборник “Опыты”, изданный в 1828 году. Вскоре Шишков был разжалован и исключен из военной службы и жил, бедствуя, в Твери под полицейским надзором. Он полюбил Козловского и посвятил ему написанное незадолго до своей трагической смерти осенью 1832 года стихотворение “Демон” (“Бывает время, разгорится...”). Оно было опубликовано только в 1834 году в “Библиотеке для чтения”, почему-то за подписью “А. Ротчев”, что вызвало реплику Козловского: “...он (Шишков. — В.Б.), по просьбе моей, написал оное послание ко мне, и в то же время я читал его И.И. Лажечникову, С.Н. Глинке и др.”.

Зимой 1833-1834 годов в Твери у родственников жили молодой историк Вадим Васильевич Пассек и его жена Татьяна Петровна, родственница А.И. Герцена. Последняя в своих воспоминаниях “Из давних лет” писала: “В Твери к небольшому числу посещавших нас знакомых довольно часто присоединялся офицер стоявшего там кавалерийского полка князь Козловский. Он любил литературу и писал порядочные стихи”. Несомненно, что Иван Дмитриевич читал эти стихи в знакомых домах.

Наконец, Козловский в Твери подружился с А.Н. Вульфом.



Тот учился в Дерптском университете вместе с поэтом Н.М. Языковым, а в 1824 году, приехав в псковское имение своей матери Тригорское, встретился с отбывавшим ссылку в соседнем Михайловском А.С. Пушкиным, который стал его коротким приятелем. Послужив затем в гусарах, Алексей Николаевич в 1833 году вышел в отставку и подолгу жил в Твери и в тверской усадьбе Малинники, куда в конце 1820-х — начале 1830-х годов не раз приезжал Пушкин. Сойдясь с Козловским, Вульф в 1834 году делает в дневнике запись о беседах “с одним юношей-поэтом князем Козловским — твердил стихи Языкова; это первого встречаю человека, который, не зная Языкова, знал бы наизусть столько же стихов, сколько и я их знаю”.

Таким образом, служа в Твери, костромич постоянно вращался в кругу людей, хорошо знакомых с Пушкиным, который, бывая здесь, запросто навещал их. Естественно, что Иван Дмитриевич, пылко любя литературу, мечтал лично познакомиться с великим поэтом, что ему и удалось осуществить. По-видимому, Пушкин относился к молодому офицеру-поэту доброжелательно. Как явствует из семейной переписки Вульфов в мае 1835 года, связывали их и какие-то материальные интересы.

Однако в 1836 году их отношения приняли несколько неожиданный характер. Причиной этому стал граф В.А. Соллогуб, тогда еще не заявивший себя в литературе. Зимой 1836 года он был в Петербурге на балу с женой Пушкина Наталией Николаевной и вел с нею светский разговор, Соллогуб вспоминал, что собеседница “шутила над моей романтической страстью и ее предметом. Я ей хотел заметить, что она уже не девочка, и спросил, давно ли она замужем...” Все это было до крайности невинно и без всякой задней мысли. Но присутствующие дамы соорудили из этого простого разговора целую сплетню. Поэту передали, что Соллогуб дерзко говорил с его женой. Пушкин, остро реагирующий на все



кривотолки о Наталии Николаевне, вспыхнул и послал “обидчику” вызов на дуэль.

Объяснения осложнялись тем, что сразу после база Соллогуб, служивший при Министерстве внутренних дел, был командирован в Тверскую губернию в качестве секретаря следственной комиссии по делу о раскольниках. Там его и настиг вызов: “Делать было нечего, — вспоминал Владимир Александрович, — я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться”.

Однако Соллогуб понимал всю нелепость дуэли, являвшейся следствием недоразумения, и стремился избежать ее при условии, что его не заподозрят в трусости. В данной ситуации очень многое значила личность секунданта, который должен был вести с Пушкиным непосредственные переговоры об условиях поединка и возможности примирения противников. Соллогуб остановил свой выбор на поручике Козловском. Он учитывал прежде всего, что Пушкин лично знал князя и относился к нему с симпатией. Кроме того, Иван Дмитриевич, несмотря на молодость, приобрел в Твери репутацию человека серьезного и рассудительного.

По-видимому, именно эти качества побудили Козловского согласиться быть секундантом малознакомого ему Соллогуба, который не скрывал от него желания покончить дело миром. Преклоняясь перед гением Пушкина, костромич понимал, что должен сделать все возможное для улаживания опасного конфликта. Это было вполне реально, т. к., по словам Соллогуба, весной 1836 года гнев Пушкина давно уже охладел, вероятно, он понимал неуместность поединка с молодым человеком, почти ребенком, из самой простой причины, “во избежание какой-то светской молвы...” С другой стороны, он по особому щегольству его привычек не хотел уже отказываться от дела, им затеянного. Поэтому было желательно, чтобы по приезде в Тверь Александр Сергеевич встретился сначала не с противником

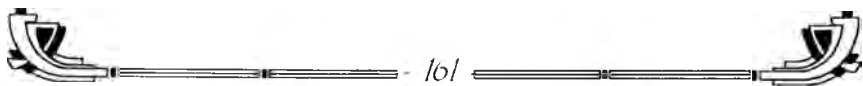


по предстоящей дуэли, с коим он мог и не захотеть объясняться, а с его секундантом, переговоры с которым предусматривались самим дуэльным кодексом. На этом и построил свой план примирения Козловский.

Узнав, что Пушкин едет в Тверь, Соллогуб перебрался в загородное имение своей матери, оставив секунданту письмо для поэта с извинениями за непредвиденную отлучку. Александр Сергеевич действительно прибыл в Тверь вечером 1 мая 1836 года, а вскоре у него появился Козловский. “Пушкин, — вспоминал Владимир Александрович, — жалел, что не застал меня, извинился и был любезен и разговорчив с Козловским”. Приятный поэту артиллерийский поручик сумел выполнить миссию примирителя. На другой день Пушкин уехал в Москву, а еще через день туда же отправился только что вернувшийся в Тверь Соллогуб. Он не взял с собою секунданга, следовательно, знал, что едет не стреляться, а чтобы соблюсти декорум примирения. Так и произошло: после спокойного разговора Пушкин, писал Соллогуб, “тотчас же протянул мне руку, после чего сделался чрезвычайно весел и дружелюбен”.

Несомненно, что Пушкин знал Ивана Дмитриевича и как начинающего поэта, пробующего свои силы в печати; так, в том же 1836 году в “Библиотеке для чтения” публикуется его большое стихотворение “Обитель Сиона”.

Вскоре после смерти Пушкина Козловский покидает Тверь. Он производится в чин штабс-ротмистра с переводом в Сибирский уланский полк и с назначением адъютантом к начальнику 6-го корпуса жандармов генералу Скалону. Однако такого рода служба была поэту не по душе. Он немедленно берет годичный отпуск “по домашним обстоятельствам”, который проводит на родине, после чего подает рапорт о зачислении в действующую армию на Кавказ. Правда, в полк костромич явился лишь в 1839 году: он запоздал “по случаю затруднительного переезда через Кавказские горы”.



Но, житель среднерусской полосы, он с трудом привыкает к экзотическому Кавказу, начинает тосковать по родной Борщовке. Свои настроения поэт выразил в стихотворении “Сонет”, напечатанном в августовском томе журнала “Библиотека для чтения” за 1839 год:

*Есть край, друзья: он не блестит красою,  
В преданьях старины он ярко не горит,  
Но я в младенчестве сроднился с ним душою,  
Воспоминание о нем меня живит.  
Там дико, просто все; над бурною рекою  
Отцовский, ветхий дом в развалинах стоит;  
Туда моя мечта с любовью и тоскою,  
К любимой матери и рвется, и летит...*

В мае 1840 года, очевидно, в связи с смертью матери, Иван Дмитриевич выходит с чином ротмистра в отставку и поселяется в Костроме. Первые годы он успешно занимается устройством своих имений, тогда же женится на дочери костромского совестного судьи Александра Юрьевича Пушкина Марии Александровне, троюродной сестре великого поэта. В 1845 году у супругов появился первенец — дочь Мария, ставшая позднее женой железнодорожного магната фон Дервиза, известная благотворительница, создавшая во время русско-турецкой войны санитарный отряд и выезжавшая с ним на театр военных действий.

С 1845 года Козловский возвращается на государственную службу, но уже по гражданскому ведомству — сначала ассессором, а затем советником хозяйственного отделения Костромской палаты государственных имуществ. Он становится в Костроме и знаменитым общественным деятелем, заботясь об устройстве учреждений для детей-сирот и щедро жертвуя на их содержание, за что в 1851 году назначается директором Мариинского детского приюта. Впрочем, это далеко не тот юный поэт, вскормленный декабристами, каким его знал Пушкин: Иван Дмитриевич давно

забросил писать стихи, превратившись в чиновника с умеренно либеральными взглядами и стремившегося прежде всего “сколотить состояние” для своей быстро прирастающей семьи. Таким его узнал в 1850-х годах видный костромской публицист Нил Петрович Колюпанов, неодобрительно отзывающийся о нем в своих напечатанных воспоминаниях.

Окончательно выйдя в 1855 году в отставку, Козловский занялся частным предпринимательством, разъезжая по всей России. В 1862 году ученый-богослов П.С. Казанский, по происхождению костромич, сообщал в одном из писем, что Иван Дмитриевич “заведывает делами Шиповых (культурная и предприимчивая семья богатых костромских дворян. — В.Б.) по откупам и золотым приискам”.

Скончался Иван Дмитриевич Козловский в конце 1867 года.



# Последний адресат Пушкина



**К** Ишимовой всецело можно отнести слова, сказанные писательницей А.П. Кобяковой, ее младшей современницей и землячкой: “Не понимаю, за что называют женщины слабыми существами: там, где надо перенести горе, противопоставить энергию сердца разрушительным напорам жизни, там женщины сильнее и крепче мужчин”. Вся долгая и подвижническая жизнь Александры Осиповны служит подтверждением такого вывода.

Огромное влияние на формирование ее характера и убеждений оказал отец. Осип (Иосиф) Филиппович был человеком “не от мира сего”, удивительной личностью, из редкой породы правдоискателей. Подобным людям обычно приходится несладко и во все-то времена, в беззаконную аракчеевскую эпоху и вовсе житья не было.

Ишимов был натурой самобытной и ярко одаренной. Уроженец Вятки, выходец из простой и бедной семьи, он сумел самостоятельно приобрести еще подростком солидные и разносторонние познания и в восемнадцать лет стал секретарем и фактически правой рукой вятского и казанского генерал-губернатора князя Мещерского.

Казалось, его ожидали блестящая карьера и богатство, но ненависть Осипа Филипповича к процветавшему тогда в России лихоимству, казнокрадству и крючкотворству приводила его к несовместимости с сослуживцами, доходившей порой до острых стычек. Если бы он сам не брал взяток, было бы полбеды, но Ишимов являлся обличителем, приводящим в своих донесениях высшему начальству ставшие ему известными факты должностных преступлений. Поэтому правдолюбец нигде не мог ужиться, часто меняя род службы и губернии.

В 1794 году, служа секретарем уездного суда в Псковской губернии, Ишимов в очередной раз представил начальству донесение о злоупотреблениях местных властей. Однако обвиненные чиновники, прибегнув к взяткам, сумели выйти сухими из воды; наоборот, они воспользовались удобным поводом, дабы свести счеты с самим обвинителем. По приговору Сената, Осип Филиппович “за ложные доносы, за оклеветание людей невинных, за порочное поведение и за злонравие” был лишен чинов и сослан в Сибирь.

Ссылку Ишимов отбывал в одном из самых суровых мест русского севера — в Березове, снискавшем в XVIII веке печальную славу, как места заточения замечательных государственных деятелей: Меньшикова, Долгоруковых и Остермана. Его жизнь в Березове несколько скрашивало то, что там были поселены поляки из числа приближенных короля Станислава-Августа, сопротивлявшиеся третьему разделу Польши. Он посильно помогал им, чем мог, завязав с некоторыми из ссыльных поляков дружеские отношения.

Воцарение Павла I, освободившего из тюрем и ссылки заключенных там при его матери, облегчило и участь “березовского узника”. Он переселяется в Тобольск, тогда административный центр Западной Сибири, и устраивается на службу в одно из губернских учреждений. Его большие познания и редкостная работоспособность на первых порах выдвинули вчерашнего узника: Сибирь остро нуждалась в способных администраторах. Осип



Филиппович снискал авторитет у тобольцев и как инициатор всевозможных культурных мероприятий, в частности, любительских спектаклей, на которых он выступал в роли режиссера и ведущего актера. Это, по-видимому, было учтено при назначении Ишимова директором училищ местного Приказа общественного призрения. Он очаровал тобольское общество и, к тому времени овдовевший, пленил сердце дочери крупного чиновника, первой здешней красавицы Ольги Тимофеевны Кривоноговой, ставшей его женой и верной спутницей.

Однако Осип Филиппович ни на йоту не отступил от своих убеждений о необходимости бесстрашно и открыто обличать любые злоупотребления, которых на его глазах в Сибири совершалось еще больше, чем в европейской России. Позднее тобольские власти на запрос правительства сообщили, что Ишимов и в Сибири продолжал “доносы, драки и самоуправство”. Правда, вскоре правдолюбец ввязался в дело, с Сибирью вовсе не связанное — о поджоге интендантами, чтобы скрыть миллионные хищения, провиантских складов в Петропавловской крепости в Петербурге.

По словам Ишимова, он узнал обо всем случайно, услышав разговор двух проезжающих на почтовой станции. В это трудно поверить. Но как бы то ни было, на имя императора из Тобольска поступило донесение о том, что склады были подожжены умышленно. В высших сферах Петербурга произошел переполох: слишком много важных сановников оказались замешанными в данной истории не только в интендантском ведомстве, но и среди проводивших расследование. Прежде всего Ишимова постарались ошельмовать, представив его в роли “заведомого кляузника”, не имевшего никаких доказательств в подтверждение справедливости доноса. Но Осипа Филипповича многому научил прежний горький опыт борьбы за правду: он твердо заявил, что предоставит доказательства только

лично императору и не реагировал на угрозы и посулы. Тогда строптивца решили изъять из Тобольска, где он имел влиятельных родственников, находил поддержку и сочувствие. В 1803 году Ишимов вместе с женой, не пожелавшей с ним разлучиться, был перевезен в Кострому, в которой не имел ни родных, ни знакомых. Положение его было отчаянное — позднее Осип Филиппович писал в прощении: "...поныне жительствую на пропитании другой год жены моей... без жалования, без службы, не смея принять на себя какого-либо партикулярного дела, ниже из Костромы выехать без высочайшего повеления".

Высокопоставленные преследователи надеялись сломить свою жертву, заставить его сообщить имеющиеся доказательства поджога складов с тем, чтобы постараться их уничтожить, но Ишимов упорно требовал отправить его в Петербург. Тогда за подачу "ложного доноса" его арестовали и предали суду. Арестованного содержали в съезжей избе позади здания городской полиции, куда к нему перебралась жена с грудной дочерью Александрой, родившейся в 1804 году в Костроме. А 25 октября 1804 года Ишимов объявил, что при аресте обыскивающий его костромской полицмейстер Кузьмин похитил у него из кармана ценности на 10 тысяч рублей, в том числе бриллиантовые серьги, подаренные ему в Березове польским графом Игнатием Озялинским. Конечно, полицмейстер утверждал, что арестованный лжет, и при этом ссылался на его дурную репутацию. Оскорбленный Ишимов предложил опросить костромичей, которые могут удостоверить его добропорядочность, среди них вдову прежнего здешнего наместника генеральшу Марию Ив. Ламб, вице-губернатора и краеведа И.К. Васькова, председателя гражданской палаты Б.П. Кромина — восприемника при крещении его дочери, советника губернского правления А.П. Голохвастова. Перечень многозначителен — он свидетельствует, что и в Костроме, несмотря на крайние обстоятельства, Ишимов стал "душой общества".



Тем не менее преследования так ожесточились, что Осип Филиппович счел за лучшее отправить жену с дочерью в Нижний Новгород. Оттуда она подала прошение о помиловании мужа. О том же просил и старший сын — студент Московского университета.

Дело о поджоге замять не удалось. Обстоятельства изменились, и в 1805 году в Кострому прискакал курьер и спешно доставил Ишимова в Петербург. В столице тот представил неопровержимые доказательства, что провиантские склады были подожжены.

Осип Филиппович остался на службе в Петербурге. Сюда к нему переехала и семья. Он, за многими служебными обязанностями, не забывал о воспитании дочери, просматривал даже тогдашнюю педагогическую литературу. В книге Лекка "О воспитании" Ишимов вычитал, что детям вначале надо предоставить больше свободы, а учебу начинать с семи лет, и осуществил это на практике. Сашенька росла самостоятельным и любознательным ребенком.

После начала Отечественной войны 1812 года, когда возникла угроза захвата Петербурга французами, чиновник особых поручений при министре полиции Ишимов получил задание подготовить к эвакуации и вывезти в Белозерск архивы. Перевезя архивы, он остался в Белозерске для надзора за ними. Проживая там, он узнал, что пять тысяч крестьян одного из крупных имений уезда борются за освобождение из-под власти своего помещика, незаконно завладевшего ими после смерти их прежнего владельца. Крестьянам был крайне необходим поверенный, умеющий составлять нужные документы и следивший за прохождением их дела в местных, а главное — в петербургских инстанциях. Среди здешних чиновников, отлично знавших о правоте крестьян, несомненно, нашлись бы желающие стать таким поверенным, если бы не одно важное обстоятельство: помещик был родственником всемогущего графа А.А. Аракчеева и пользовался его покровительством. Поэтому



все только с испугом отмахивались от обращавшихся к ним крестьян. И вдруг последние узнали, что в Белозерске засиделся видный столичный чиновник, прославивший человеком справедливым и отзывчивым. Кинулись в последней надежде к нему — и Ишимов, убедившись в правоте крестьян, согласился взяться за их дело. Вероятность немилости Аракчеева лишь подогрела его решимость. Осип Филиппович представил специальный доклад министру финансов (незаконно закрепощенные крестьяне должны были поступить в казенное ведомство) и целые годы неутомимо вел дело по судам, искусно обходя все препоны, чинимые помещиком. Параллельно он являлся поверенным и по другим судебным искам, держа на гонорары увеличивавшуюся семью.

В 1819 году дело белозерских крестьян поступило на рассмотрение Государственного Совета и, благодаря превосходно подобранным Ишимовым доказательствам, было решено в их пользу. Однако лютей гнев Аракчеева обрушился на крестьянского поверенного: граф распорядился выслать его с семьей в административном порядке (т. е. без суда) в Вологду в трехдневный срок. Столь поспешное изгнание привело к полному разорению семьи: Ишимов не успел завершить или передать кому-нибудь дела, которые вел в присутственных местах, пришлось продать за бесценок или бросить мебель и т. д.

Ишимовых в Вологде не оставили: губернатор, выслуживаясь перед Аракчеевым, выслал их в Усть-Сысольск. Там изгнанники впали в нищету, т. к. Осип Филиппович не мог найти никакого заработка. “Замечательно, — вспоминала Александра Осиповна, — что лишая человека и семейство его всех средств к существованию, разорив его совершенно, правительство, или, вернее говоря, граф Аракчеев, не назначил ему даже никакого содержания от казны!”

И тогда пятнадцатилетняя дочка сделалась единственной кормилицей бедствующей семьи. В дремучем Усть-Сысольске

(теперь Сыктывкар), удаленном на 800 верст от губернской Вологды, в уездном училище почти ничему не учили, а учителя, сами малограмотные, пили горькую. Александра стала давать частные уроки, обнаружив помимо обширных знаний прирожденные педагогические способности. Всегда ровная, внимательная, с хорошими манерами, юная учительница казалась усть-сысольцам выходцем из другого, лучшего мира. В городке ее называли “просветительницей”. От уроков у Ишимовой не было отбоя, и она с трудом выкраивала время для самообразования, в совершенстве овладев за это время французским языком.

Осип Филиппович меж тем не устал забрасывать Петербург жалобами на незаконную ссылку, и раздраженный Аракчеев приказал перевести Ишимова в еще более убогий Никольск. “Квартира, которая давалась нам от города и отводилась по выбору городничего, состояла из двух комнат в нижнем этаже, вровень с землею... было так холодно, что и родители наши, и мы с братом не снимали теплых сапогов, ни даже шуб наших”, — рассказывала позднее Ишимова.

И в Никольске содержание семьи всецело легло на девичьи плечи. Александра Осиповна целыми днями бегала по урокам, а редкие свободные минуты посвящала чтению. Однажды ей дали прочесть недавно изданную в России книгу Вальтера Скотта “Айвенго”. Роман так поразил воображение девушки, что она решила изучить английский язык и прочесть его и другие произведения этого автора в подлиннике. Чтобы выкроить время (день был занят уроками), она вставала в четыре часа утра, а ложилась в двенадцать часов ночи. Через четыре месяца Ишимова свободно владела английским языком, но применить свои знания не могла: в Никольске не нашлось ни одной английской книги.

А мытарства семьи не кончались. Гнев всеильного временщика все распалялся — он вздумал заточить Ишимова в Соловки. Снова



снежные сборы, снова дальняя дорога теперь на край Олонецкой губернии, в городишко Кемь, где ссыльным предписывалось целую северную зиму дожидаться открытия навигации по Белому морю. Взрослая уже и ни в чем не повинная дочь должна была разделить суровую участь родителей. И тогда Александра Осиповна решилась на отчаянный поступок. Отменить наказание Аракчеева мог только император — значит, надо добиться свидания с ним! Взяв с собой малолетнего брата, девушка тайком покидает Кемь и как-то без подорожной и почти без денег ухитряется добраться до Петербурга, а оттуда в январе 1825 года — до Царского Села, где тогда жил император. Добрые люди посоветовали ей попытаться встретиться с Александром I во время его ежедневной прогулки по царскосельскому парку. Несколько часов на сильном морозе ждала Александра Осиповна и ее маленький брат царя, но когда тот появился, то от волнения и от холода не могла разжать сведенные судорогой челюсти. Вид заколеченных детей растрогал Александра — он взял принесенное ими прошение. Вскоре последовал указ поселить Ишимова в Архангельске и определить на службу.

Александра Осиповна осталась в Петербурге, забрав к себе семью. Она открыла частный пансион на двадцать воспитанников, в котором сама и преподавала. Талантливый педагог, Ишимова отлично поставила дело — пансион приобрел популярность. Но в 1830 году власти закрыли его. Оставшись без средств, Александра Осиповна вспомнила, что для подбадривания отца переводила и высылала по частям в письмах в Архангельск трактат о счастье. Запросив у отца письма, она соединила и отредактировала перевод и показала его своему знакомому В.Д. Вольховскому, лицейскому однокашнику Пушкина. Он высоко оценил этот труд и помог подыскать издателя. В том же году книга “Искусство быть счастливым” Иосифа Дроза, свободный перевод с французского, увидела свет.



После этого Ишимова, хорошо знавшая несколько иностранных языков, становится профессиональной переводчицей. Высокими достоинствами отличались, в частности, ее переводы Ф. Купера, рассчитанные прежде всего на детей.

Заинтересовавшись детским чтением, Александра Осиповна обнаружила, что в России совершенно нет для детей книг по истории, а ученые фолианты с обширными комментариями и ссылками недоступны их пониманию. Хорошо зная и любя историю, она в августе 1834 года задумала написать популярное и легко постигаемое детьми пособие по истории России, созданное на базе замечательной “Истории Государства Российского” Н.М. Карамзина. Однако ее “История России в рассказах для детей” отнюдь не была простым переложением карамзинского многотомного исследования: Ишимова сопоставляла факты, приводимые Карамзиным, с аналогичными сведениями из трудов других историков и иногда по-своему истолковывала и оценивала их. Позднее Ишимова много путешествовала по историческим местам России, дополняя своими наблюдениями переиздания книги.

Первые двадцать пять рассказов автор показала профессору Петербургского университета П.А. Плетневу, который горячо поддержал ее и стал постоянным советником и консультантом. Он пригласил Ишимову на свои “Среды”, где она познакомилась с многими русскими писателями и учеными, а главное, с А.С. Пушкиным.

Великий поэт с симпатией и участием отнесся к молодой женщине, по достоинству оценив ее обширные познания, литературный талант и трудолюбие. Он захотел привлечь ее к сотрудничеству в журнале “Современник”. Они условились повидаться у Ишимовой 22 января 1837 года, но случайно разминулись. Тогда поэт 25 января отправил ей письмо с предложением перевести для журнала несколько пьес современного английского драматурга Корнуолла: “Заранее соглашаюсь на все Ваши условия”.

Александра Осиповна ответила тотчас. Она не скрывала, что обрадована предложением Пушкина, но добавляла: “Только вот что: мне хотелось бы как можно лучше исполнить желание Ваше насчет того перевода, а для этого, я думаю, нам нужно было бы поговорить о нем”, — и просила завтра зайти к ней.

В эти дни вышла в свет первая часть “Истории России...”, включавшая в себя двадцать девять рассказов, излагающих события до начала XIV века. Эту книгу автор подарила Пушкину.

Утром 27 января 1837 года, собираясь на дуэль, Александр Сергеевич пишет Ишимовой последнее в своей жизни письмо:

“Милостивая государыня Александра Осиповна. Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест, честь имею препроводить к Вам Барри Корнуолла. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переводите их, как умеете — уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу “Историю в рассказах” и поневоле зачитался. Вот как надобно писать”.

Письмо дошло до адресата лишь через десять месяцев — оно осталось на пушкинском столе и было опечатано в числе прочих бумаг поэта. Первый его читатель В.А. Жуковский так охарактеризовал данный документ:

“Это письмо есть памятник удивительной силы духа: нельзя читать его без умиления, какой-то благоговейной грусти: ясный, просто сердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такой беззаботностью через час уже лежал умирающий от раны”.

Ишимова, естественно, сочла долгом исполнить пушкинское поручение — в восьмой ноябрьской части “Современника” за 1837 год опубликованы “Драматические опыты” Б. Корнуолла в ее переводе.



Быстро продвигалась работа над “Историей в рассказах”. В 1841 году была напечатана ее последняя шестая часть, излагавшая события по 1825 год включительно. Следует учесть, что “История...” Карамзина доходила лишь до начала XVII века, а не одно тогдашнее исследование по российской истории не затрагивало материал XIX столетия — это свидетельствует о смелости и новаторстве автора.

Современники высоко оценили труд Александры Осиповны. Академик Я.К. Грот писал П.А. Плетневу: “...провел часа два за чтением Истории Ишимовой. Какой, в самом деле, прекрасный дар у этой госпожи! Как она умеет — уже не говорю рассказывать, оживлять рассказ так, что не только ум, но непременно и сердце ребенка заинтересовывается. Вот с этим автором я бы желал познакомиться лично!”

“Прекрасным и общепользным трудом” и “прекрасным подвигом” назвал “Историю в рассказах” В.Г. Белинский, поясняя: “Дети имеют теперь полную историю России, представленную не в сухих отрывочных фактах, но в прелестных рассказах, соединяющих в себе всю занимательность анекдота с достоверностью и важностью истории”.

Академия наук удостоила первую русскую женщину-историка Демидовской премии размером в 2500 рублей.

Ишимова стала известной детской писательницей, автором многих книг, основателем и издателем первых в России журналов для детей (“Звездочка”, 1842-1863) и юношества (“Лучи”, 1858-1860). О ее большой популярности свидетельствует, например, один из отзывов Н.Г. Чернышевского: “Имя г. Ишимовой, как составительницы детских книг, давно уже приобрело у нас такую известность, что педагогический курс, ею теперь издаваемый, не нуждается в наших похвалах”. Трудилась писательница до последних дней долгой своей жизни, прервавшейся в 1881 году, когда была напечатана ее книга “Русским детям. Рассказы для детей первого возраста”.



Собственной семьей Александра Осиповна не обзавелась: для нее были “родными” дети всей России. Она навсегда сохранила черты характера, когда-то поразившие П.А. Плетнева, назвавшего ее в письме В.А. Жуковскому “существом чистейшим по душе, но побуждениям во всех действиях”. Эти ее черты были, несомненно, подмечены и оценены и А.С. Пушкиным.



«Губернский дом» № 5/2002 (51)

Учредитель — администрация Костромской области.

Попечители: областной государственный архив,

Костромское епархиальное управление,

Костромской областной фонд обязательного  
медицинского страхования, объединение «Костромакурорт»,  
областная научная библиотека,

историко-архитектурный музей-заповедник.

Журнал зарегистрирован региональной инспекцией (г. Тверь).

Регистрационный номер Т-0162.

## СОДЕРЖАНИЕ

Пушкин по имени Александр .....	6
Наставник Пушкина .....	14
«Многие много тебе обязаны» .....	26
«Российский жук» .....	40
«Сват наш Толстой» .....	62
Последний визитер .....	77
«Искусный коновал» .....	90
Загадка Бошняка .....	99
Певец .....	116
Квакер Беверлей .....	124
«Твой недосказанный упрек» .....	141
Секундант .....	154
Последний адресат Пушкина .....	164

Редактор Николай Муренин

Заместитель редактора Татьяна Гончарова. Художник Юрий Бекинев.

Компьютерный набор - Екатерина Соколова.

Корректра - Татьяна Бекнишева. Верстка и подготовка оригинал-макета -  
Евгений Виноградов, Екатерина Соколова.

Сдано в набор 10.10.2002 г. Подписано к печати 30.11.2002 г.

Заказ № 5832. Печать офсетная. Объем 11 п.л.

Тираж 1000 экз. Цена свободная.

Отпечатано в ГУП «Областная типография им. М.Горького»  
департамента по делам телерадиовещания, печати и массовой информации  
администрации Костромской области, г. Кострома, ул. П. Щербины, 2.



